

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**
3/2025



В номере:

Борьба за личное счастье

Роман «Дружок» Елены АНТИПОВОЙ — это сложносочинённое переплетение нескольких пластов истории, эмоциональное восприятие времени глазами ребёнка. Героиня романа Алёнка — ровесница постсоветской России. Книга, которую она читает, составляет интермедию — архивные материалы о колонии меннонитов на территории Российской империи, об их путешествии в Среднюю Азию. Для автора эти исторические коллизии — возможность связать XI век с XXI, размышления о родине, о вере и о доме. Как далеко могут завести человека его убеждения и что должно случиться, чтобы он решился им изменить? Алёнка живёт в сегодняшнем дне, она помнит то, чему её учили, но достаточно ли одной памяти? Опыт, казалось бы, мирной жизни героев романа — это вечная борьба за личное счастье, за родных, за право заниматься действительно важным делом.

«Что за зверь — этот стих?»

«В глухой тишине ночной/ ни чада, ни домочадца —/ помимо тебя одной/ мне не к кому домолчаться...» Проникновенные стихи Ильи ФАЛИКОВА о любви, об утрате — образец исповедальной лирики.

«Однажды ты дал мне столько любви,/ что я не умела её носить,/ я только смотрела, как носят другие,/ жалела изодранные края.» В стихах Евгении Джен БАРАНОВОЙ — экзистенциальная тревога и восхищение жизнью, способной «объединить незримое с пейзажем».

«Даже фундамент исчез,/ только примята земля». Социальные мотивы в подборке Дениса БАЛИНА «Пора ежедневной рутины» неразрывно связаны со временем взросления лирического героя: «Время не скажет про нас ничего./ Время не знает про нас».

В философской лирике казахстанской поэтессы Айгерим ТАЖИ много подтекста: «Дрожит в ладонях рвущаяся нить./ Маячит будущее, как воздушный шарик./ Мелькают люди — жизни на бегу».

«В природе любовь совершает свой круговорот...» В подборку стихотворений «Своего народа собираю рать» вошли новые переводы современной тюркской и монгольской поэзии, сделанные поэтами Максимом АМЕЛИНЫМ, Ириной ЕРМАКОВОЙ, Алёной КАРИМОВОЙ, Михаилом ЛИПКИНЫМ и Юрием ТАТАРЕНКО.

Тип личности во время перемен

«Традиция существовала для него только затем, чтобы нарушать её».

В публикуемой главе из «Автобиографии старца Фукудзавы» автор, знаменитый японский просветитель Фукудзава ЮКИТИ (1835–1901), повествует о своей учёбе в школе Окаты, где впервые в условиях почти полной закрытости Японии эпохи сёгуната Токугава началось формирование, пусть весьма своеобразное, самодостаточного типа личности «нового японца», который вскоре и открыл страну миру. Перевод и предисловие известного япониста Александра МЕЩЕРЯКОВА.

Инструмент тихой речи

«Быть услышанным. В эпоху всеобщего непрерывного говорения, тиражируемого буйно разросшимися медиа. В эпоху “новых чум и семилетних боен”. Только то, что сказано сегодня тихо, может быть кем-то услышано и понято. Предельно тихо.» Для своего ежегодного обзора поэзии Евгений АБДУЛЛАЕВ отобрал восемь изданных в России и постсоветских странах сборников стихов.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.01.2025.
Подписано в печать 20.02.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. Всё анапест, анапест, анапест. <i>Стихи</i>	3
Елена АНТИПОВА. Дружок. <i>Роман</i>	9
Денис БАЛИН. Пора ежедневной рутины. <i>Стихи</i>	82
Роман СЕНЧИН. Тиняков и Первая мировая. <i>Материалы к биографии</i> <i>Александра Тинякова</i>	85
Саша НИКОЛАЕНКО. Страна, которой больше нет. <i>Главы из романа</i>	111
Инна ВОЛОШИНА. Я просто не отказываюсь жить. <i>Новелла</i>	122
Евгения Джен БАРАНОВА. Сквозь виноградник в Арле. <i>Стихи</i>	130
Елена ДОЛГОПЯТ. Царь лев. <i>Рассказ</i>	135
Галина КАЛИНКИНА. Глубина промерзания. <i>Рассказ</i>	154
Лев УСЫСКИН. Гниды. <i>Маленькая сентиментальная пьеса</i>	166
Евгений СОЛОГУБ. Время нежности. <i>Два рассказа</i>	177
Айгерим ТАЖИ. Ломая берега. <i>Стихи</i>	186

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Сергей ТИХАНОВ. Менделеевский жилмассив. <i>Короткая проза</i>	189
--	-----

ПЕРЕВОДЫ С ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ

«Своего народа собираю рать». <i>Стихи</i>	
Геннадий КОСТОЧАКОВ. <i>Переводы с шорского Максима Амелина</i>	193
Любовь АРБАЧАКОВА. <i>Переводы с шорского Ирины Ермаковой</i>	195
СУЛЕЙМАН. <i>Переводы с татарского Алёны Каримовой</i>	196
Алексей БЕГЗИН-ООЛ. <i>Переводы с тувинского Михаила Липкина</i>	197
Николай КУУЛАР. <i>Переводы с тувинского Юрия Татаренко</i>	199

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Ирина БОГАТЫРЁВА. На Луне шёл снег. <i>Рассказ</i>	201
София ЛЕБЕДЕВА. Черета потерь. <i>Рассказы</i>	206

НАЦИЯ И МИР

Фукудзава ЮКИТИ. Обретение личности. <i>Глава из «Автобиографии старца Фукудзавы». С японского. Перевод и предисловие Александра Мещерякова</i>	212
--	-----

КРИТИКА

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Тихие книги. <i>Восемь поэтических сборников 2024 года</i> ...	229
---	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Отчаяние, новая перспектива	241
---	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Всё, что кончится в мире со мной (<i>Е.Холмогорова. «Недрогнувшей рукой»; М.Бородицкая. «Не забудь сказать спасибо»; М.Тарковский. «42-й до востребования»</i>)	257
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Жить дальше	268
---------------------------------	-----

SUMMARY	272
----------------------	-----

Илья Фаликов

Всё анапест, анапест, анапест

* * *

Что за зверь — этот стих? Не нахрапист,
перемахивает бурелом.
Всё анапест, анапест, анапест,
в основном, в основном, в основном.
Я не против хорей и ямба,
да и дольник на многое гожд.
Тигр, у гольдов зовущийся *амба*,
на летящий анапест похож.

Он таится в пещерах и чашах,
в рощах блоковского соловья,
в мандельштамовских куцах звучащих,
о Некрасове не говоря.
На Пицунде и в той же Анапе
стих, сгорающий синим огнём, —
всё анапест, анапест, анапест,
и практически, и в основном.

* * *

Руки помнят лицо твоё, плечи, всё тело твоё,
ничего твоего не исчезло из нищих ладоней.
Не утащит тебя у меня никакое ворьё.
Вороньё расточится, прокаркав о белой вороне.
И не выпьет тебя вместе с кровью моей комарьё
на малиновом звоне, на чертополоховом склоне.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. Автор десяти книг лирики, четырёх романов, двух сборников эссеистики и книг о Марине Цветаевой, Борисе Слуцком, Евгении Евтушенко и Борисе Рыжем в серии «Жизнь замечательных людей» (их журнальные варианты были опубликованы в «ДН»). Лауреат многих литературных премий, в т.ч. премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Мы прошли эти заросли, эти рощи и чащи прошли.
Выше нас пролетали бесшумные белые козы.
Из тяжёлого камня и древней сыпучей земли
состояли поросшие чертополохом откосы.
Мы себя не узнали, не прощупали и не прочли,
безоглядно легки, безответственно голы и босы.

Ты в ногах у себя обнаружишь морскую звезду,
по волне доскакавшую к суше большими прыжками.
Я по голой земле не с пустыми руками иду.
Всю тебя заграбастав, иду не с пустыми руками.
Никакими железными или золотыми веками
обитать на земле без тебя не имелось в виду.
Козы стали в горах белокаменными облаками.

* * *

Там откосы в таких же ромашках,
что и в сквере моём за окном.
В точных рифмах, в невольных промашках
колких звёзд, полетевших на слом.
Там в вечернем и утреннем свете
с итальянским акцентом слегка
зажигают рекламу РОССЕТИ
Пушкин-Лермонтов на МЦК.

Там нас поезд возил наудачу
за надеждой в рассветной росе
и Канатчиков выстроил дачу
до того, как возникло шоссе.
Там закончилось то, что когда-то
было ранней бескрайней весной,
и была она не виновата
в том, что нынче случилось со мной.

Нет, колотится в рёбрах не вобла,
но в назначенный длящийся срок
сквозь мои разобщённые рёбра
кровеносный стучит кулачок.
Не добыча намечена нынче,
не добыча, не запах её —
отработает робот да Винчи,
отболит ретивое моё.

Там снимались Лорен с Мастрояни,
били звёзды в ночное окно,
остывающими остриями
пропоров мировое кино.
Но зато образуется впору
ожидаемо и навсегда
майский снег, маркирующий флору,
и черёмуховые холода.

* * *

Клён напоминает ей Одена —
она зовёт его сэр Уистен.

Н.А.

Разбавленный дождём американо
в сырых ногах у Гоголя хлещу.
Из ёмкости шестого океана
течёт, и мне протечка по плечу.
Желанен Божий мир, высок и звонок,
и женщины сияют там и тут —
из пиджаков, без прочих одежонок,
их ноги непосредственно растут.

А дни и ночи быстро побежали,
чтоб чёрным камнем сделаться впотьмах.
Я загляну в глаза твоей печали.
Что происходит у тебя в глазах?
Морщинистый алкаш Уистен Оден
стал деревом, вещающим с бугра:
— Широко в шагу, от женщины свободен,
ты жив ещё, но — кончена игра.

Шагну налево, а пойду направо,
где на неисчерпаемом пруду
пернатых наблюдается орава
с листвой неопалимой нарядю.
Забыв про ЖКХ и прочий рынок,
глядит освобождённый лицедей
на стаю золотистых мандаринок
и пару белопёрых лебедей.

* * *

Выносили во двор одеяла
и пальто — выбивать и трясти.
Ничего не умея сначала,
научились хозяйство вести.

Чертыхаясь не без причины,
копошились в домашней пыли
и ближайšie все магазины
в интересах семьи обошли.

Во дворе поутру поседели,
обрели архаический стиль,
и стоит, как стена цитадели,
неподвижно столетняя пыль.

* * *

Заберите наследие это —
книжки, фотки, блокноты, тетрадки.
Это лето вконец разогрето,
и не всё на планете в порядке.
Заберите наброски, записки
на салфетках, бумажки, картонки,
устаревшие плёнки и диски,
файлы, флешки, пылинку с конторки.

Всё закончится склокой и дракой,
на планете темно и недужно, —
я раздал бы всё это, однако
никому это дело не нужно.
Нет в природе провальнее средства
от безвыходности непреложной,
чем бесславно лишиться наследства,
без которого жить невозможно.

* * *

Сколько раз мы летели с обрыва
под моим предводительством — ах,
над лазурью морского залива
на отсутствующих парусах.
Были тропы практически рядом —
не всегда разувались глаза.
Нашу пару светящимся взглядом
проводжали шегол и коза.

С Тихой бухты взлетели? Пожалуй.
Не задерживаясь в городах,
путь отмерили мало-помалу
сквозь Евразию — на Карадаг.
Миновали большие болота,
горы пуха и горы пера,
чтоб открыть Золотые ворота,
чтоб сияла Святая гора.

Ты за мной полетела вслепую,
чтоб звезду с покорённых высот
отловить, как пчелу или пулю —
как получится, как повезёт.
В крайний день на дистанции оной
мне уже не приспичит летать —
остаётся башкой размождённой
на обветренном камне лежать.

* * *

Подай мне стакан воды
в пещере моей, в пустыне
при звуке ночной звезды,
похожем на звон латыни.
В глухой тишине ночной
ни чада, ни домочадца —
помимо тебя одной
мне не к кому домолчаться.

* * *

Наши пеплы смешались и сделались тучей,
полетев над холодной планетой летучей.
Но ни снега не жди, ни дождя.
Потому что весна без конца и без края
наступила навек. Всё прошло, дорогая.
Вечный храм возведён без гвоздя.

Я когда-то, однако, заехал на Кизи,
где свистали стрижи, опускаясь всё ниже,
и лежала бродяжка в кустах.
Между тем были космы её серебристы,
и, над ней проходя, гоготали туристы,
и Господень отсутствовал страх.

Потому что топор, полетавший, как голубь,
был размашисто брошен в онежскую прорубь,
был отчаянный плотник таков.
Наступила весна без конца и без края,
и оттуда пошли мы с тобой, дорогая,
стали тучей среди облаков.

* * *

Облако засушенной лаванды
или незадушенной легенды —
цвет погас, но запах не ушёл.
Столик в кафетерии — не стол
письменный, рабочий, ресторанный —
не станок, а вешка на пути
в поле, где уже не строят планы
жизнь прожить и поле перейти.

Облако лаванды в лёгкой вазе.
Не философическое Ф.
Не установить полезных связей
из литературного кафе.
Будущие каверзы и сдвиги
затаились в каменной норе.
Ты меня отыщешь в «Доме книги»
нюхающим горы на заре.

Елена Антипова

Дружок

Роман

Часть I

Интермедия 1. Волга

Там, где наглотавшийся песка ветер бьёт больнее плети и нет жизни, кроме берегов щедрой Амударьи, вращает своими лопастями моя мельница. Я, как птенца под сердцем, принёс её с крутых волжских берегов в эту пустыню, и теперь, когда краткая, как Иисусова молитва, жизнь моя подходит к концу, я понимаю, что ничего иного по себе не оставил. Смотрите на неё и вспоминайте ничтожного раба Божьего Адама Янца, предавшего веру свою.

Я родился уже в Гансау, одном из десяти поселений колонии Ам Тракт, но по рассказам матушки знаю о долгом странствии меннонитов¹, привлечённых в Поволжье обещаниями великодушной царицы. А много ли нужно было вечно гонимому народу? Земля, чтобы трудиться и кормить семью, и признание важнейшего из прав человеческих — права не давать присяги и не брать в руки оружия. Человеколюбивому разуму дико оттого, что ради таких естественных вещей моим родителям пришлось проделать столь долгий путь.

Елена Антипова (Александрова Елена Алексеевна) родилась в 1991 г. в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского и юридический факультет Международного института экономики и права. Рассказы печатались в журналах «Звезда», «Сибирские огни», «Нижний Новгород». Лауреат международного фестиваля-конкурса «Русский Гофман», 2024. Участница проектов АСПИР. Живёт в Нижнем Новгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 10.

Журнальный вариант.

¹ Меннониты — последователи особой протестантской секты, получившей название от имени основателя Менно Симонса, голландца по происхождению, жившего в 1496—1561 гг. Они считают непозволительными для себя войну, судебные процессы, месть, клятву и расторжение брака. В Российскую Империю первые М. попали по приглашению Екатерины II для организации сельского хозяйства в обмен на землю и привилегии, включавшие освобождение от воинской повинности. В Поволжье М. впервые переселились из Западной Европы в 1854 г. Но введённый в 1874 г. закон «О всеобщей повинности» не сделал исключения для М., поэтому часть из них переселилась в другие страны, в том числе и в Хорезм (территория нынешнего Узбекистана).

Здесь, под селением, называемым русскими Покровском, они, едва успевшие вступить в брак до отъезда из Пруссии, обзавелись первым собственным хозяйством. От щедрот Российской Империи досталось им шестьдесят восемь десятин земли, но так как отец мой с детства не знал иного труда, кроме ремесленного, возделывать капризную почву и ухаживать за урожаем помогали холостые братья матушки и наёмные работники из окрестных деревень.

Как я понимаю, первые годы на новом месте для моих родителей оказались непростыми. Мать целую реку слёз пролила над письмами старшей сестры, выбравшей для переселения Херсонскую губернию, одарившую пришельцев жирной чёрной землёй. Отец сжимал челюсти и склонялся над очередной деревянной шкатулкой или табуретом. Ему сложно было понять, как нелегко женщине с младенцем на руках приходится каждый день бороться со степными суховеями и странными, неизвестными прежде вредителями, губившими едва показавшиеся всходы.

Но к тому времени, когда я начал уверенно ползать по меже и совать себе в рот всё, что мог ухватить, дела в колонии, разросшейся и обзаведшейся своими мельницей и кирхой, стали налаживаться. Напоённые неизмеримыми трудами поля ожили, героическая пара овец, оставшаяся от восьмидесятиголовой отары, принесла потомство, которое потом удалось с большим успехом свести с местной породой. Матушка моя стала чаще смеяться, придумывать к столу более затейливые блюда.

Породою своей я пошёл в отца — высокого и прямого, как штакетина, — быстро вытянулся из пухлого пупса в тощего юнца, здоровьем был хрупок. Зараза находила меня за стенами нового нашего дома, пахнущего ещё сосновой слезой. Бедной моей матушке Господь больше детей не послал, потому, кажется, будь её воля, она всю жизнь носила бы меня в подоле своего льняного фартука. Пышная, словно дрожжевая булочка, она только что воском меня не натирала до блеска, как воскресные туфельки, пока отец однажды не осёк её: «Нечего из мужчины растить подснежник».

Когда мне исполнилось пять и я окреп, отец доверил мне раскрасить крупный узор на первой шкатулке. Уже тогда в колонию начали приезжать русские гости. Они ходили по дворам, подолгу беседовали со старшими об урожае в разные годы, о поголовье коров и их породе, об опытах наших в посеве и орошении. Дядя Абрам, встречавший делегации, в красках пересказывал нам, как они снимали шапки, ахали, охали, кланялись в пол, а потом на собраниях в молельном доме читал выходившие в столичных газетах хвалебные статьи о меннонитском хозяйстве. В глазах этих заезжих агрономов порядки, заведённые даже в более старых немецких колониях, сильно уступали нашим. Но труд от того не становился более лёгким. Я, бывало, видел своих дядек только по воскресеньям. Окончив ежедневную работу, они возвращались с полей затемно, ужинали, молились и валились спать.

Сам я в детстве всего несколько раз помогал в уборке урожая в полях. Остальное моё время принадлежало огороду возле нашего дома и отцу. Он учил меня смешивать краски, писать простые фигуры, посуду, румяные яблоки,

а однажды приволок в мастерскую лягушку в банке и велел рисовать. Я успел закончить этюды за час и выпустил несчастную тварь в пожарную канаву.

Потом мне в руки попали столярные инструменты: рубанки, стамески, резачки. Я начал помогать с починкой старой мебели, росписью новой и сам мастерил шкатулки и корпуса для хитрых часовых механизмов мастера Германа. По праздникам я стойко терпел расчёсывание частым гребнем и надевал неудобные, вечно новые, но всегда не по размеру выходные ботинки. Потом мы вместе с дядями на шаткой телеге ехали в Копентальскую кирху. Зато к ужину в такие дни нередко бывала курица, а летом ещё и пирог со смородиной или абрикосами.

В школу, обустроенную в одном из общественных домов, на занятия к нам — десятку детей переселенцев — приходил тощий студент в пенсне. Он плохо говорил по-немецки и больше делал вид, что ведёт у нас урок. Но как только герр Фрёзе, преподававший младшим всё — от азбуки и счёта до основ геометрии, — выходил из класса, студент садился на стул, и начиналось наше любимое действие.

Воображая, что ладони его рук — это живые существа, он разыгрывал для нас спектакли с песнями и весёлой бранью, которые мы, разумеется, впитывали, как здешняя земля — воду. Одну из рук студента неизменно звали Вася, а вторая по необходимости могла становиться другом Ванькой, не желавшим вернуть долги, сварливым лавочником, выгонявшим Васю за порог, или кокетливой Варварушкой, которая высоким голосом пела печальные романсы, неплохо, надо сказать, пела. Обиженные жизнью персонажи эти очень нам нравились, и когда кто-то из них задавал вопрос или просил помочь, мы старательно подбирали слова. Так, буквально на пальцах, студент научил нас говорить по-русски.

Родители нашим успехам были рады. Они тоже, как могли, старались овладеть новым языком, но не всем это легко давалось. Отец мой так и не смог в должной степени выучиться, чтобы без проблем говорить с покупателями. В Покровске у нас был свой пяточок, где на скамьях и пустых бочках мы раскладывали расписные доски, коробочки, сундучки, картины на холстах и грунтованных древесных спилах. В зимние и ранние весенние месяцы к ним присовокуплялись оформленные в рамы вышивки моей матушки — нехитрые орнаменты и цитаты Священного Писания, выведенные по хлопковому полю буквами затейливой формы. Не самый ходовой товар, да и цена у нас была не самая низкая.

Я обожал дух базара. Тесноту, постоянные выкрики-прибаутки лавочников, пестроту нарядов, горячую выпечку, изредка приносимую отцом не из дома, а из соседней корчмы, и казавшуюся самой вкусной на свете. И мало кто, впервые проходя мимо нашего лотка, не останавливался, восклицая: «Глянь, немчик-то, немчик что выделяет!»

А я то невпопад выкрикивал строчки скабрёзных песен или романсов, выученных от студентика, то ходил в присядку, то отвечивал медленные поклоны до самой земли, устраивал представление новой картины или шкатулки. Купчики и крестьяне, смешливые девушки в шерстяных платках, толстые, заграждавшие проход бабы, — они сначала замечали меня, а потом и товар наш.

Отец на все эти выкрутасы привычно сухо обзывал меня болваном, но в удачные дни и мне доставалась от него копеечка, а иной раз даже улыбка.

Жаль, что так недолго позволяла нам эта земля обживать дома, обихаживать поля и устраивать прочие дела наши.

Глава 1. На страстной

Прospала.

Из комнаты матери ритмичный утренний стук.

Марфа Дмитриевна поднялась, расправила, по привычке, плечи, но тут же снова руки упали плетьюми, согнулась спина. Только голова так и осталась подбородком кверху. Ноги в барельефе вен, как чугунные, не сразу нашли на полу остывшие тапочки. Глаза едва открываются: мешочки из тонкой сухой кожи мягкие, тяжёлые. Откинула назад для равновесия остриженную голову, скрипнула дверью спальни.

Завернула рукава вафельного халата по локоть, вошла в тёмную комнату. Шторы плотные, солнцу сквозь них не пробиться. В том же месяце, как привезли маму из больницы домой, повесили их с Петей, чтобы днём было, как ночью. Пахнет мочой. Прости, моя хорошая, жердёлочка моя, сейчас, сейчас. Еле осилила, приподняла над койкой материно тельце, сняла фланелевые брюки с одной штаниной, кинула на пол. К ним же отправилась простыня. Усадила старушку на санитарный стул. Перевернула одеяло, каким-то чудом совершенно сухое. Мама, сломанная куколка-пупсик, захрипела непослушными ото сна связками:

— Бисерика моя! Шо сегодня, Пасха? Надо до Прокопенок снести кулича и яиц чудок, я анадьсь обещалась, — и запела с хриплым гэканием, как обыкновенно бывало с ней в хорошем настроении:

Девка улицу мела, девка улицу мела
Девка улицу мела, хрен огромный подняла.

Вот так календарь у неё. Вчера только Рождество было, и все заботы — об опаре на пироги с курагой. А сегодня Пасха настала. Тут хотя бы угадала сезон. Пасха и впрямь завтра уже. Птицы напели ей, что ли, в открытую форточку. Покивала, сворачивая в ком грязное бельё. Вернулась с тазом тёплой воды, вымыла мать, протёрла влажным полотенцем рыжую клеёнку. На свежие простыни опустила старушку в её весёлом беспомыслии:

Я тебе его не дам, я тебе его не дам.
Я тебе его не дам, он тебе не по годам.

Укутала, провела по жидкому пуху на макушке, приладила седые пряди на висках. Надо бы её подстричь как-нибудь.

На кухне достала из холодильника кашу, отправила в микроволновку маленькую пиалу — часть экзотического сервиза, привезённого Петром из дальней командировки. Чего теперь беречь, до какого особого дня? Много ли ей нужно теперь, а Петенька — вот он, только здесь и остался, на фотографии с чёрной лентой в углу. Парадный, в кителе, со всеми лампасами-погонами, в фуражке с кокардой. Усы подстрижены, и видно, что он тихонько так фотографу улыбается, всё в рамках приличий, но улыбается.

Принесла завтрак матери, заправила край полотенца за ворот сорочки-распашонки спереди. Мама улыбается, губы обтягивают голые дёсны. Ну, открывай рот пошире. Мама вскинулась, прояснились глаза, как бывает порой, когда рассудок возвращается, напоминает ей обо всей правде. Нет, только не сейчас, пожалуйста, мама:

— А Петруша? Где Петруша? Шо-то его давно не видала. Марфуша, где супруг твой благоверный?

За слезами не сразу увидела, как ложечкой с кашей упёрлась в сморщенную материну щёку, всё лицо перемазала манными крупинками, на воротнике рубашки молочный след. Спихватилась, вытерла лицо и рот матери полотенцем — дура, — тем же самым полотенцем, которым клеёнку мыла загаженную. Зарычала по-звериному, бросила на пол пиалочку. Вдребезги. Разлетелись кусочки по полу с тонким китайским «дзянь!»

Мама смеётся, поёт песню свою:

Это что за колбаса, это что за колбаса?

Это что за колбаса, два яйца и волоса?

* * *

Муся, дружок, успокойся. Как вижу слёзы твои, до сих пор теряюсь, будто не было у нас одной на двоих жизни. Ты же помнишь, какой сегодня день? Тебя ждут. Меня теперь нигде не ждут: ни на юбилеях, ни на поминках. Это нестрашно, и не отменяет того, что я смотрю на тебя.

Странно, как сужается обзор. Я теперь, кроме тебя, почти ничего и не вижу. Только тебя, и то, что случилось со мной и вокруг меня раньше. Как диорама. Да, как в Севастополе, помнишь. Ты в платье с вишнями стояла возле ограждения, разглядывала неживые фигуры, пугающе очеловеченные. Снаружи солнце, асфальт едва не плавится, а там, внутри, — вечный двенадцатый год.

Я был скуп на слова, редко рассказывал что-то невесёлое. Это оттого лишь, что дороже улыбки твоей не было для меня клада. Слёзы у тебя всегда под рукой, а вот рассмешить — та ещё боевая задача. Потому и не рассказывал. Теперь чего уж, хуже не станет.

На один только вопрос, на самый твой главный и частый вопрос, нет у меня ответа. Каждый раз, когда ты шепчешь в подушку, как что-то заветное: «Почему ты ушёл?» — теряюсь. В новообретённом бесплотном виде я мог бы, кажется, все небесные звёзды пересчитать, как латунные на погонах, но не способен

вспомнить не только причин смерти своей, но и того, как и где встретил её. Придётся начать с самых истоков. Ты только уйми сердце и умой маму.

У меня тоже была мама. Она поцеловала меня в последний раз шестого июня. Я это и теперь помню. Вижу лицо её, щёки впалые, вместо косынки — пионерский галстук. За ночь до того бомбили автозавод в Горьком, и бабы с детьми весь следующий день разбирали завалы. После первого захода немецких бомбардировщиков ясно было, что на восстановление не меньше года уйдёт, так они вернулись и добавили к тыловому горю, и без того непомерному, столько же, да с горкой. В добавление ко всем разрушениям той ночи — слепой осколок, нечаянно нашедший мою мать, меньше ячменного зёрнышка в котелке полевой кухни.

Теперь я вижу себя на чудом уцелевшей за столько лет дореволюционной кровати в доме тётки где-то под Павловом, чувствую во рту кислый вкус вымоченной в молоке тряпицы. Но тогда я не видел войны. Память тела моего отсчёт ведёт с первого года после Победы. И то мало картин сохранилось, больше впечатления. Например, заснеженная дорога, сугробы выше полы перешитой на меня братовой шубки, глубокий след от полозьев саней. Я пробираюсь по свежему снегу, пытаюсь палкой прочистить себе путь. Не получается, конец подобранной где-то веточки утопает в рыхлой массе, с усилием проходит до самой земляной твёрдости, но ничего не меняется, не становится меньше преграда.

Потом помню, как отелилась корова. Мне тогда в первый раз всыпали за то, что без спросу вышел на двор и затаился в яслях с отсаженным новорождённым бычком. Он только пообсох, поднялся на тонкие ножки, безобидным казался, нежным. А мне до одури ласки хотелось. Я встал на цыпочки, щеколду подтолкнул пальцем и прижался к пахнущей молоком шкуре. Нос влажный гладил и звёздочку на лбу, целовал глянцевого бок. В одной рубашке вышел и босой, холодно, а уходить не хочется. Глажу, глажу телка, говорю с ним. А тётка хватилась, всё кругом обошла, темно уже, нет меня ни на кровати, ни за печкой, ни в сортире. Разъярилась и, когда до хлева дошла, не жалела ни слов, ни жестов. Отходила по тощему заду красной грубой ладонью только так.

Телка потом забили, и я дураком прослыл среди братьев за то, что наотрез отказывался есть его мясо. Тётка — святая женщина, учительница до мозга костей — на немислимые ухищрения шла, только бы впихнуть в меня кусок. Это она мне потом рассказывала, мы уже женаты были с тобой, дружок. Говорит: «Я, зимой если, брала кусок мяса, заворачивала в бумагу или тряпицу, клала в сумку к проверенным тетрадам и шла в школу, работать. Там выкладывала мясо за окно возле своего стола, единственное не заклеенное. А вечером — обратно в сумку, тебе, мол, из магазина». Я же и впрямь думал, что она специально для меня покупала это мясо. А ведь и правда, куда там, с её зарплатой.

И, казалось бы, какая разница, Мусь, своё ли мясо, чужое ли, но и тогда, и позже с большою охотой я обманывался, принимая чужие правила как свои.

Тогда ещё не было внутри у меня войны. Какая война, если ты — всё, и каждая вещичка кругом — тоже ты? Она позже пришла, вместе с зудящими подростковыми прыщами, как острое нетерпение. Конечно, мы носились

по двору в редкие свободные часы с палками-автоматами наперевес, притворялись разбойниками и немцами, но даже в азарте игры продолжали помнить, кто мы такие. И, думаю, встретиться нам тогда настоящий фриц, заблудившийся в приокском лесу, мы, насквозь пропитанные историями о пионерах-героях, непременно взяли бы его в плен, но после этого всё равно не придумали бы ничего лучше, чем накормить его кашей. А там уж пусть взрослые разбираются.

Даже сиротство казалось мне чем-то природным. У многих мальчишек на улице нашей, да и во всей деревне, отцов забрала война. Детей вовсе без родителей было меньше, но даже их никто не считал особенными. В семьях бабушек и другой родни росли такие же мальчики и девочки, недолюбленные и недоласканные, но, как говорили старики: «Сыты-одеты — и прекрасно, о любви поговорим, когда поднимем страну».

И я тоже поднимал страну. Сначала в виде ведёрка с располовиненными картофелинами, потом в виде мотыжки и грабелек, сам не заметил, как начал поднимать сорокакилограммовые мешки.

Да мне ли тебе рассказывать, чем земля пахнет, дружок. И пора бы тебе собираться к Алёнке. Не огорчай её, а то она места себе не находит, меряет комнату шагами от окна до двери.

* * *

От окна до двери двенадцать шагов. Странно. Кажется, всего два года назад было пятнадцать. Дурёха рыжая! Вон какая здоровенная выросла, уже лифчик носит, а не соображает ничего. От двери до окна — всё верно, двенадцать. А за окном — газон между дрожками, уложенными там, на четырнадцать этажей вниз, в виде заглавной буквы «А», тополя с липкими скорлупками почек, попадёт в волосы — только отстригать. Вдалеке, если подставить табуретку, можно увидеть Волгу, Кремль и церкви на том берегу. Оку не разглядишь, но нетрудно представить её, подходящую с фланга к Стрелке, там, за Ярмаркой, впереди, строго вдоль Алёнкиного дома.

На свой двенадцатый день рождения Алёнка решила никого не звать, кроме Юльки. В десять лет пробовала, как все, собрать дома одноклассниц, которые уже приглашали её на праздник к себе. Несколько месяцев продумывала меню и конкурсы, откладывала с обедов мелочь на призы — жвачки и шипучие леденцы. Ничего хорошего не вышло. Гости без спроса хватили с полок книжки, перелистывали страницы жирными пальцами, не соглашались с правилами конкурсов, не желали слушать радио. Юлька, та вообще, как ревизор, ходила и сыпала вопросами: «Где вторая комната? А где тогда вы спите с сестрой? Разве взрослым детям можно спать с родителями?» Маму в нокаут отправила, сморозив, что впервые видит, чтобы на праздничном столе не было ни мяса по-французски, ни целиковой жареной курицы. Ещё до торта дело не дошло, а Алёнка только и ждала, чтобы гости поскорее ушли. Кое-как досидела до конца вечера и твёрдо решила, кроме единственной настоящей подружки, никого больше на праздники не звать.

Тётю Машу и приглашать специально не нужно, она — семья. Пока они с дядей Петей жили здесь, за второй дверью в просторном общем тамбуре, тогда

Денис Балин

Пора ежедневной рутины

Временная запись

Время хоронит, а память хранит
лица, события, дни,
как летописец былых атлантид —
помнит, что были они;
сколько нас плыло в морях фонарей,
в плотном дыму кабаков,
и превратилось в расчёт кораблей,
в повод для новых стихов.

Нас в нефтяных каруселях катал
(с)мутный поток нулевых
и обещал сколотить капитал
жизней лихих и больших.
Нас, накрутивших экватор кассет,
рано начавших курить
и при себе то вино, то кастет
рано начавших носить.

Мы научились в подъездах всему
(может, не прямо всему)
и заходили в дворовую тьму,
чтобы почувствовать тьму.
Скольких потом разбросала за так
жизнь — от строки
до строки.
(Я набирал на смартфоне контакт
и не слышал гудки.)

Балин Денис Александрович — поэт. Родился в 1988 году в посёлке Мга Ленинградской области, где и живёт. Окончил Институт телевидения, бизнеса и дизайна (Невский университет). Автор трёх сборников стихов. Лауреат литературных премий «Молодой Петербург» (2015), «Лицей» (2022) и др. Победитель первой Всероссийской мастерской АСПИР «Мир литературы. Новое поколение» (2022).

Город. Посёлок. Деревня во мгле.
Схема железных дорог.
Сколько мотало по этой земле —
остановиться не мог.
Может быть, случай меня выручал
и выносил на руках,
чтоб я слова иногда сочинял
и сочинялся в словах.

Время — дальтоник, а наши года
и разноцветные сны —
в нём — обесцвеченный лёд и вода,
семя на теле страны.
Время не скажет про нас ничего.
Время не знает про нас.
Мы превратимся в его вещество,
но не сейчас,
не сейчас.

Телевизор

Я смотрю на хорошем айфоне
дорогое цветное кино.
Я читаю в хорошем айфоне
Telegram и ВКонтакте. На фоне —
телевизор, не нужный давно.

В нём теперь не Степашка с Каркушей
а бескрайнее «Поле чудес».
Он молчит запылённый, потухший,
а когда-то игрушкой был лучшей —
не снижался к нему интерес.

Я включаю его вечерами,
как светильник с картинкой живой:
звук на минимум, таймер с часами;
словно фильма с немymi губами,
он сияет палитрой цветной.

Раньше редкостью был чёрно-белой,
а сейчас украшает музей.
Только я не застал устарелый,
мне для Денди и прочего дела
телеящик достался мощней.

Помню, пультом работал для бати —
годы детства сродни шутовству,
а теперь от зарплаты к зарплате
я плыву от кровати к кровати
и Набоковым в прошлом живу.

После посещения двора, в котором вырос

Бабушкин ветхий сарай,
полный семейных вещей,
больше не слышит людей —
птичий обыденный грай.

Неба прекрасный цветок,
больше не будет над ним,
больше не будет дверным
лязгать амбарный замок,

ключ повернув до ноля,
в лютый мороз-ирокез.

Даже фундамент исчез,
только примята земля.

Старые санки отца,
брошенный фотоальбом,
стали метафорой, сном,
схемой морщинок лица.

Что ж, расстаёмся, прощай,
детство и маленький двор,
юности поиск и спор,
бабушкин ветхий сарай.

* * *

Мой сосед постоянно в четыре утра
своё кресло-кровать собирает за стенкой,
и оно издаёт *тру ля ля, трарара*
(или что-то такое). Меня эта сценка
иногда пробуждает — зачёркнутый тьмой
я лежу и бубню стихотворной строкой.

На работу уходит бедняга-сосед:
заворчит домофон, а затем возле дома
растворятся шаги, никого больше нет —
во дворе тишина холодна и знакома.
С целым миром един, в целом мире один
я плыву в полусне из метафор-картин.

Мне мерещится времени мутный узор
и неясный мотив современных мелодий;
вспоминается Блок или школьный позор;
через облако слов, через небо просодий
в черновик прилетает простая звезда,
чтоб остаться в стихах навсегда, навсегда.

Разлетаюсь на части — ничьим и никем:
буду телом-растением в клумбе постели;
в бесконечном пространстве далёких систем
из галактик — частицей, летящей без цели.
Но будильник рассвета — лучами звеня —
восстановит из прожитой жизни меня.

Я забуду про сон и вселенной огни —
наступает пора ежедневной рутины.
Побегут чередой понедельники-дни,
нарисует реальность иные картины,
но я верю, меня потревожит опять
мой сосед, собирающий кресло-кровать.

Роман Сенчин

Тиняков и Первая мировая

Материалы к биографии Александра Тинякова

В книге Алексея Ремизова «Взвихрённая Русь» есть такая зарисовка первых дней Февральской революции:

«Нестройно кучка народу — душ около сотни — демонстрирует мимо Исакия.

Два красных флага:

“да здравствует с-д. р. п.” и “земля и воля”.

Царь-вампир из тебя тянет жилы,
Царь-вампир пьёт народную кровь...

— Товарищи, присоединяйтесь! долой буржуазию! шапки долой! —
выкрикивает без шапки.

А рядом солдат с ружьём:

— Сказано: шапки снимать. Снимай шапку!

Я снял шапку.

И какие-то два прохожих сняли.

И вдруг мне показалось, один из моих глазающих соседей как гаркнет:

— Бо-же ца-ря...

Царь-вампир из тебя тянет жилы,
Царь-вампир пьёт народную кровь...

Сенчин Роман Валерьевич — прозаик, редактор, критик. Родился в 1971 году в городе Кызыле. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Автор двух десятков книг, в том числе «Ничего страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», «Нулевые», «Русская зима», «Остановка». Лауреат премий «Ясная Поляна», «Большая книга», Правительства Российской Федерации в области культуры и других. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

Книга «Александр Тиняков. Человек и персонаж» выйдет в издательстве АСТ («Редакция Елены Шубиной»).

— Пойдём!

И оба пропали.

Смеркалось — весенняя тяжёлая сумерь волной накатывала.

И я вспомнил, как в 14-м году в войну один поперечный поэт — А.И.Тиняков — тоже вот гаркнул на всю Фонтанку:

“Да здравствует император Вильгельм!”

Пение едва доносилось, и только какой-то “рарпир” и “наров” врывались в уличный шум.

Я надел шапку и пошёл».

Да, Александр Иванович Тиняков был *поперечным* и поэтом, и человеком, и его настоящее отношение к Первой мировой войне узнать вряд ли удастся. А может быть, оно менялось; самого себя Тиняков характеризовал как человека *неустойчивого*, что подтверждает вся его жизнь. Одновременно поэт-декадент и подражатель Бунина, близкий к социал-демократам и защитник самодержавной власти, автор либеральной газеты «День» и почти в то же время черносотенной «Земщины», добрый знакомый Зинаиды Гиппиус и Бориса Никольского. Антисемит, большевистский агитатор, монархист, профессиональный нищий, соловецкий заключённый, инвалид с «оттенком старого интеллигента».

Взглянем, кем был в годы Первой мировой войны этот странный персонаж русской литературы.

* * *

Вскоре после выхода своей первой книги стихотворений *Navis nigra* (1912 год), которую почти не заметили и очень плохо покупали, Александр Иванович перебрался из Москвы в Петербург.

«Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России — подвижнический, что она — свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев — Россия оказывалась навозной кучей и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и всё упование возлагал на Государственную думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество — в руках жидов...» — свидетельствовал Владислав Ходасевич в «Неудачниках».

С одной стороны, всё так, с другой... Стихи Тиняков писал, писал много, правда, печатал редко. Он действительно выступал как публицист, порой неуклюже забредая в философские дебри, но куда чаще публиковал рецензии, литературную критику, статьи по истории литературы. И письма Ходасевича к нему 1914—1915 годов это ярко демонстрируют:

«Дорогой Александр Иванович!

Сердечное Вам спасибо за хорошие слова о моих стихах. За этот год я Вам собирался писать непрестанно, да ленив я на это дело до ужаса. В конце октября

я два дня был в Пбурге, звонил в “Сев. Зап.”, справлялся о Вашем адресе. Там мне сказали, что Вы уехали “в провинцию”. Оказывается, это была неправда. Иначе я бы Вас повидал. <...>

Когда напечатаете заметку о моей книге — сообщите, где она напечатана или пришлите вырезку; очень обяжете».

Вот из другого письма:

«Вы когда-то интересовались судьбой моей “Русской лирики”. Поверите ли? Она вышла только на прошлой неделе, [с] пометой: 1914. Это оттого, что первые листы были отпечатаны 2 года тому назад. Книжечку посылаю Вам, хоть и стыдно; если бы Вы вздумали написать о ней несколько строк, — я был Вам очень признателен».

(Никаких идеологических разногласий по крайней мере в сохранившихся письмах Ходасевича Тинякову мы не находим.)

С теми же просьбами к нашему герою обращаются и Зинаида Гиппиус (она хлопочет о сочинениях мужа — Дмитрия Мережковского), с которой у Тинякова сложились если не дружеские, то вполне доверительные отношения, и сам Мережковский. Вот, например:

«Мне очень важно, чтобы Вы написали обо мне статью. Я не сомневаюсь, что Вы её в конце концов напечатаете. Думаю, что в Биржев[ых ведомостях] или Дне возьмут — я там пользуюсь некоторым влиянием. Сегодня я отдал распоряжение, чтобы Сытин послал Вам Полное собрание моих сочинений».

Статьи, рецензии, стихи Тинякова печатаются в «Речи», «Дне», «Северных записках», «Новом журнале для всех», «Дневниках писателей», «Голосе жизни», «Историческом вестнике», «Ежемесячном журнале», «Новом Сатириконе»... Всё это издания более или менее либеральные, в которых публиковались по большей части тогдашние прогрессивные литераторы.

Заносит Александра Ивановича в 1915 году со стихами в умеренно правый журнал «Лукоморье» (в который позже чуть не попадёт Есенин — два раза возьмёт авансы в счёт гонораров, а стихи так и не даст), чего Гиппиус не одобряет, но мягко:

«Пока “сердце ваше не осуждает вас”, — пишите в “Лукоморье”, а я только оставляю за собой право надеяться, что когда-нибудь “сердце осудит”, и эта линия само (*так!* — примечание публикатора писем Николая Богомолова. — *Р.С.*) собою переменит у вас направление».

Ох, знала бы Зинаида Николаевна, что Тиняков ещё за полтора года до этого напечатал в черносотенной газете «Земщина» две статьи в связи с делом Бейлиса. Правда, под псевдонимом.

Цитирую письмо дальше:

«Стихи не нравятся мне. “Политически-недостойного” ничего нет, но какие-то они слабые, не нужные. Для инакомыслящих могут быть “удобными”, впрочем. Есть многое, что живо и хорошо, пока облечено в молчание, а “описанное” — гаснет и даже может начадить».

Что это за стихотворения? «Оправдание войны» и «Страшна смиренная Россия...»

Первое:

Сестрою смерти речь людская
Войну неправо нарекла:
Война — свирепая и злая —
Вершит не мёртвые дела.

Не к смерти, хилой и костлявой,
Бойцы стремят свои сердца,
А к жизни, сладостной и правой,
К могучей жизни — до конца!

И смерть в сраженьях не почётный,
А только неизбежный гость, —
И жизнь — с улыбкой беззаботной
Бросает ей за костью кость!

Но мчится весело в атаки,
Но кроет дерзким дымом твердь
И в бой зовёт в огне и мраке: —
Поверьте, юные, — не смерть!

Порыв стремительный героя
И горький плач его жены —
Всё это — наше, всё — земное
И чуждо смертной тишины.

Пускай страданий слишком много,
Склонить мы головы должны,
Как перед мудрой волей Бога,
Пред неизбежностью войны.

И мы не можем, не страдая,
Понять, как сладостна любовь,
И нам мила краса земная,
В которой — слёзы, боль и кровь.

Второе... Второе в том же духе и в той же форме.

Смею высказать мнение, что декадентское у Тинякова получалось художественнее, что ли. Но шла война и нужны были патриотические, духоподъёмные стихи. Впрочем, герой нашей книги оставался верен себе — параллельно с духоподъёмным писал и такое:

Смерть играет со мной в роковую игру,
Давит горло рукой беспощадной,
И я знаю, что я через месяц умру:
Стану грязью червивой и смрадной.

Будет рай или ад? Я воскресну иль нет?
Всё равно: одинаково глупо!
У меня диабет, у меня диабет, —
Ад и рай безразличны для трупа!

(«Диабет»)

* * *

В феврале 1915 года Александр Иванович принял участие в полемике об отношении России к Западу, западной цивилизации. Суть и ход её можно найти в статье литературоведа Николая Богомолова «Неосуществлённый цикл О.Э.Мандельштама и журнальная полемика 1915 г.»¹ и в его же предисловии к публикации писем Гиппиус Тинякову².

Началом полемики стала статья «Выбор ориентации» Фёдора Сологуба в шестом номере еженедельной «иллюстрированной летописи» «Отечество» 14 декабря 1914 года.

Статья эта отличается от содержания и направления всего номера — он не просто посвящён идущей войне с Германией и Австро-Венгрией, а окрашен в победительные тона. Вот, например, начало стихотворения Игоря Северянина, соседствующего со статьёй Сологуба: «Войска победоносные / Идут на Будапешт, / В терпении безвопросные, / Исполнены надежд...»

У Сологуба тон иной:

«Когда мы (русская интеллигенция. — *Р.С.*) думаем о войне, мы думаем не столько о прерванном для войны труде мужика тамбовского, или ганноверского, или бретонского, сколько о разрушенном Лувене, о Реймском соборе, о нехороших поступках курортных германских врачей, о газетных статьях германских публицистов, поэтов, учёных, о их ненависти к нам, русским, которых они зовут варварами, и о том особенно, оказалась ли германская культура на высоте тех гуманных идей, которыми мы, среди всего неустройства и зла жизни нашей, так дорожим. <...> Перед нами стоит трагический вопрос: сохранить ли нам нашу влюблённость в европейскую, в частности, в германскую, культуру, или это европейское, германское, разлюбить. <...>

Европейская ориентация у нас терпит кризис, — размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить, — потому что европейская культура потребна нам только отчасти, в предметной своей части, а не целиком, как мы хотели её взять. Никогда, думаю я, не дойдём мы до того “культы вещей”, которым так характеризуется та же немецкая цивилизация, и никогда душу свою, Марию, не променяем на тело её, Марфу. <...>

Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы. Технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни, — всё это будем брать по-прежнему или даже ещё энергичнее, но всему этому дадим только служебное значение».

В следующем номере «Отечества» за подписью «Редакция» напечатана статья «Вынужденный ответ», направленная против отношения к войне Гиппиус и Мережковского:

¹ См.: Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: Исследования и материалы. М., 2013. С. 243—254.

² Богомолов Н.А. Письма З.Н.Гиппиус к А.И.Тинякову // Литературный факт. 2016. № 1—2. С. 41—82.

Саша Николаенко

Страна, которой больше нет

Главы из романа

Я жду тебя на берегу трамвайных рек
У тёмных крыш, на каждой остановке.
Вселенная, останови свой бег,
На Дмитровке, а может, на Покровке.
Когда я загляну в твои глаза,
Весь мир замрёт в немом благоговении,
Мой город, словно глазом стрекоза,
Моргнёт и вновь отправится в паденье.

Михаил Полянский

1

В страстной четверг покойница приснилась. В родительской, на длинном, как к гостям расставленном столе, накрытом скатертью крахмальной, в чугунной ванной, как в гробу, лежала маленькая мать, закрыв глаза, сложив покоем руки, похожие на лапки воробья. Над сгорбленным застеленным диваном плюшевый ковёр — олень, гора, долина, водопад, река. Гефсиманский сад. Трофейный мягкий ворс и кисточки, которые в косички можно заплетать, но заплетать нельзя. Покойница не разрешала заплетать, сердилась: «Ты что, опять? Опять, проклятый, заплетать?!»

Над матерью хрустальная горела люстра о много ламп, роняя отсветы на стены и звякая подвесками красиво, как будто гости бьют бокалом о бокал за здоровье хозяев, но ни хозяев, ни гостей.

Саша Николаенко — писатель и художник, родилась в Москве в 1976 году. Печаталась в журналах «Знамя», «Урал», «Новый мир» и других. Автор ряда книг, в том числе «Убить Бобрыкина: история одного убийства» (2018), «Небесный почтальон Федя Булкин» (2019), «Жили люди как всегда» (2021), «Муравьиный бог: реквием» (2022). Лауреат литературных премий «Русский Букер» (2017), «Ясная Поляна» (2023). Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11.

Хотела Таня хоть одну себе хрусталину такую, но мать сказала, что считает их, и если хоть одна куда-то пропадёт, она к родителям Татьянкиным пойдёт, им всё расскажет, всё! Как сын, иуда, у матери родной ворует, для своей... — и он боялся, что в гробу проснётся мать, пока он будет воровать, и чтобы мать проверить, к тумбочке пошёл и книгу на пол уронил, тяжёлую, и книга стукнула о пол, как будто взорвалась, и звонче зазвенели хрусталины, и закрутились всполохи быстрее, но не проснулась мать.

К столу подкрался, влез на стул, с него на стол, боясь запачкать скатерть, наследить, на гроб косясь, но мать спала, и, дотянувшись, снял одну хрусталину для Тани, обернулся. Из гроба на него смотрела мать. Смотрела, не сказала ничего, он поскорее спрыгнул со стола, подвеску опустил в карман и поднял книгу, сел и стал как будто бы читать. Но не читал.

Будильник зазвонил, он вздрогнул и захлопнул книгу. Из книги вылетела моль и золотая пыль, и он чихнул. «Здоровый будь», — сказала мать, в ночной рубашке серой вылезла из гроба, кряхтя, вздыхая, со стола сползла и вдела ноги в тапки, из тапка вылез палец костяной, кривой. Она зевнула, хрустнув, потянулась, горбатая, из комнаты пошла, включила в коридоре свет, а он всё спал, сидел с закрытыми глазами, сон смотрел и слушал, как ходит по квартире мать, что делает она, и думал: живая мать, воскресла. Как обещала, так и сделала она.

Она вошла, спросила: «Саша? Ты надо мной псалтырь навечерный читал?» «Читал», — и знал, что знает мать, что не читал над ней навечерный псалтырь. Она кивнула, усмехнулась, он расслышал: «Что делаешь, то делай поскорей...» — и вспомнил, видела она, как он подвеску Тане воровал, полез в карман, чтоб ей отдать, подвески не было в кармане. «Уже отдал, уже предал», — сказала мать.

«Иди сюда, через него смотри...» Он посмотрел: смывая стены и углы потоком света, сиял и вспыхивал от радуг новый день, качнулась комната, и, выгнув чешую, до потолка достал сиреневый паркет, и Таня заглянула в грань, и соскользнула с грани, и появилась на другой. «Теперь крути!» Он в пальцах повернул подвеску, закружилась голова...

Среди вещей неведомой породы, развоплощённых быть, как были до, охваченных волшебной силой колдовской, веретено кружащихся сияющих разломов, и невозможно крепко на ногах стоять, когда паркет качает и кружит на карусели радуг, и сразу двадцать пять лимонных, рыжих, голубых, зелёных канареек Тани, и Таней тоже не пересчитать, и все они внутри, и это всё внутри одной подвески, какую мать не разрешала воровать. Он сжал кулак, и мир захлопнулся, исчез, погас! Диван и шкаф, учебник на столе, на проводах в окне ворона, Таня...

«Отдай! — сказала Таня. — Саш, ну Саш, отдай, ведь ты же мне же подарил...» И он отдал.

Стемнело, рассвело, стемнело. Он пальцами провёл по бархату оленевого плюша, цвет изменил олень, и он пригладил ворс, и кисточку заплёл, как научила Таня. Ещё одну, ещё одну, ещё. В глаза через балконные портьеры сочился тусклый Божий свет.

2

На чёрной лестнице сломался эскалатор, ступени не вписались в поворот, на смотровой площадке детства твои следы, мои следы сошлись, увязли валенки, бетон окаменел, и все стоят, забыли, как сойти. Повсюду зеркала дверные, и каждый выйти сам себе навстречу рад, иначе встретит кто? Окаменели крошки на столе, хрусталь в гробу буфета, будильник не звонит, кому звонить? Веретено ужалило любовь, и мир уснул, и Изумрудный город вмёрз в балконное окно, аквариум времён оледенел, и в нём застыли тритон доисторических племён, моллюск без имени и золотая рыбка, раскрывши рот, но не успев спросить «за что?».

Качает ветерок балконный висельника старого пальто, качелями скрипит, скулит по коридорам и обрывает провода, календари и объявления на столбах: «сдаю», «преподаю», «сниму», «азы английского», «сольфеджио...» — страны обманутых надежд.

Архипелаг небес на острова рассеян, восход приветствуют в апреле соловьи, забор покрашен жёлтыми шарами, и небо плавает в воде. Копилка катится и мелочью звенит. Ковчег увозит детство. Проснись, вставай, открой ему.

На кухне тикали часы, считали, сколько времени прошло, и стрелка, пополняя круг, указывала путь на север, запад, юг, восток; перпетуум-мобиле, и сколько ни пройдёт, всё снова впереди. Перпетуум-мобиле потерь.

В квартире свет горел дневной, пол прилипал к ногам, в волнах клеёнки плавал коробок без спичек, и погорельцы коробка лежали в блюде под лампадкой, огарки храмовых свечей, спаситель Николай, в сусальном золоте и пыли, кусочки ладана и капли восковые, какие пальцем можно с блюда сковырнуть, и в пальцах растопить, и шарик накатать зачем-то, зачем-нибудь, кому-нибудь, кто удивится, кому-нибудь, кто знает, для чего.

Висела лампа на крюке, моргая от шагов. От тех, кто сверху жил. Но там никто не жил. Лепила девочка, похожая на Таню, шарик восковой, а веник мёл сирень и падь её сухую, разбитых чашек черепки, баранок крошки, записки, письма, смех и плач, клён золотой, пятёрку по труду, и вкладыши, и марки, сырую глубину подъезда, счастье, горе, в одно сметая на совок.

Мигнула и погасла лампа, опять по потолку шаги, такие лёгкие, как тени, такие вечные, как запах осени сырой. И штукатурка падала на пол, на липкий пол, кусками облаков, не открывая сини, и облака, разбившись, больше не могли подняться вверх.

В кругу твоём светло, — он написал и стёр, и снова написал, и снова стёр. Стемнело. Он снова написал: светло, и снова стёр. Фарфоровая куколка качнула головой на нитке, лифт грузовой загрохотал, захохотал, а поезд-дом катил по улице Свободы, скрипел, зевал, дверями хлопал и табуретками стучал.

3

Был первый час осеннего заката, когда в квартире никого и можно делать всё что хочешь, сидеть, не делать ничего. В окне ещё не зажигали фонари, из-за трубы котельной выплыл месяц, он еле разглядел его — почти октябрь, ещё сентябрь. Гудели лифтовые шахты, старушки доживали перед телевизорами жизнь и спицами стучали над шарфами, чтобы связать и снова распустить, чтобы связать, перечитать открытки поздравительные, письма, пересмотреть альбом, переписать рецепт и с радостью по радио узнать, что есть рецепт, как выжить в стране, которой больше нет, в стране, которой больше не нужны старушкины шарфы.

В остывшей кружке плавала чайника, причалив к ободку, застыли несколько ещё. На жёлтом — слон, погонщик на слоне в халате длинном и чалме, как мать, когда из ванной выйдет, и надпись про индийский чай.

Он ложкой помешал, чайники закружились, кто парами, кто без, мешая сахарную муть с бензином облаком поверх. Одна особенно красиво, как девочка из тридцать пятой снизу в какой-то вечер зимний на катке. Он пальцем подцепил её, и рядом положил с пустой тарелкой, и так сидел, покачивал ногой над полом, так наклоняя, чтобы тапок соскользнул, потом искал его не глядя, опять качал, чтоб тапок соскользнул. Часы вертели стрелкой, пока в двери не повернулся ключ. Вернулась мать и принесла заказ: цыплёнок синий суповой, сгущёнки банка, сыр Российский с чёрной цифрой «5», ужасно повезло! — все цифры сыра были у него, а этой не было ещё, — и гречка.

«Хоть раз посуду, Саша, бы помыл, опять гора. Как, Саша, жить-то будешь без меня?» — спросила мать, он вспомнил, что уже живёт, и, вспомнив, усмехнулся, услышал смех на потолке, такой далёкий, как будто с чёрно-белой фотки выпускной. Чайника высохла. Тарелка опустела, и он смахнул её на пол.

«На счастье!» — рыдала над осколками страна, над каждой рюмочкой, бокалом, чашкой, как будто с ними вместе умирала каждый раз. Но всё наладится же, да? На ладан дышит да на лад пойдёт, до свадьбы заживёт...

«А помнишь, у биологички в классе был ремонт, мне дали на дом чучело вороны сохранить, тебе — её скелет? Я чучело поставила на полку и боялась, спать не могла вообще, как будто смотрит на меня, усну, и выключает глаза. Потом его в газету завернула и выкинула в мусоропровод, тебе сказала “улетело”, ты поверил?» — «И я», — ответил он. «Что ты?» — спросила Таня. «Я тоже выкинул скелет».

И стало так смешно в пустой квартире над этим всем, что было всем.

4

Когда Господь войдёт в наш город Изумрудный, то в нём не будет никого, и даже второгодник Петухов, что выше всех и вечен, куда-то без вести пропал без права жизнь переписать, а адрес прежний: Москва, Свободы, 23, но по нему

Инна Волошина

Я просто не отказываюсь жить

Новелла

Как странно проживается старость, — держа узловатыми дрожащими пальцами бокал красного вина, подаренного ей на юбилей, она прочитала на этикетке год его рождения. Вдвое моложе меня, — усмехнулась, уже привыкшая всё реже встречать своих ровесников, даже среди старых, добрых, выдержанных временем вин. Каждый день она чувствовала, как истаивает в ней жизнь, унося с собой сотни тысяч, миллионы прошёптанных, сокрытых, написанных, неотделимых от неё слов. Теперь высоких слов стало принято стесняться, отрицая иерархию, извиняясь за пафос, подшучивая над серьёзностью. А ведь из поиска таких слов в общем-то и состояла вся её профессиональная жизнь. Да и не только профессиональная. С присущей ей редакторской въедливостью теперь она стала скупее и строже ко всему, что волей или неволей говорила или писала. Словно улавливала, где-то там, за гробовой доской, едва слышное эхо, с дрожью отзывавшееся даже на не произнесенные вслух разговоры, которые она вела сама с собой по привычке к одиночеству. Она всё больше ценила уединение, ощущая груз даже едва слышного чужого вздоха. Молчаливица — с осторожностью прилаживалась к новой сокрытой глубине этого слова. Единственным человеком, заставляющим её выходить из своего отшельничества была племянница Таисия. Их ежедневные телефонные разговоры растрчивали остатки её старческих сил, рассчитанных по минуте на бесконечно долго длящийся день. Да, силы теперь приходилось расходовать с осторожностью даже на поход на кухню и обратно, и она никогда не могла быть уверена, что доберётся туда целой и невредимой. И всё же связь с племянницей было единственным, что держало её ещё на этом свете. «У кого-то смертная надоба — во мне» — всё вмещающая цветаевская краткость. Не в ладах с человечеством, пятидесятилетняя

Волошина Инна Евгеньевна — журналист, искусствовед. Окончила Кейптаунский государственный университет, факультет истории искусств. Автор искусствоведческого цикла и ряда интервью в журнале «Фома». Печаталась в журналах «Знамя», «Юность». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 2.

Таисия время от времени объявляла, что покончит счёты со своей бессмысленной жизнью. Их связь превратилась в своего рода «великое противостояние», которое по физической немоги она едва тянула. Ей приходилось каждый раз осторожно подыскивать слова, удерживая Таисию на краю. Она даже самочинно решила богословствовать, но нигилистическая Таисия напоминала подростка, отчаявшегося объяснить причину своей душевной боли, и на каждое утешающее слово, вопящего в ответ: Не то! Не то! Как невыносимо для неё стало это ежедневное «не то». Всё это напоминало бы трагикомедию. Но Таисия уже предпринимала несколько попыток суицида, пусть и неудачных, но всегда начинавшихся с неизменной прелюдии: ну сколько же можно всё это терпеть? Однажды её даже отвезли в больницу. Взять на себя грех, оставив её без утешения и надежды, она не могла. Но главное, в глубине души она знала, что ищет эти слова не только для Таисии. С огромным трудом принимая по утрам вертикальное положение, она силилась найти их для самой себя, стараясь до последнего не опустить знамёна на поле боя.

Когда-то она была легендой литературного мира, её книги и статьи расходились внушительными тиражами. Писала и говорила она сочно, остро, ярко, афористично, одним удачным словом могла надеть смирительную рубаху на любого литературного выскочку. Её глаза тогда горели беспредельным интересом ко всему происходящему: в стране перестройка, менялись герои, в очередной раз в измученной России появилась надежда на достойную человеческую жизнь. Она любила это слово «достоинство» — дотянись, до- стой в уровень своей человеческой подлинности. Позднее среди интеллигенции стало принято представлять эту страну как годную лишь для беспощадных экспериментов истории. Ну и для писания текстиков, как смущённо выражались её коллеги, пытаясь снизить пафос своего писательского ремесла. На самом деле, лучшие из них были преданы слову, мучительно пытаясь осмыслить это неизбывное русское: то дороги в грязи, то руки в крови.

Но в те первые перестроечные годы даже скептики и циники, за редким исключением, воспряли духом. Тогда рядом с ней были те немногие, свои, единомысленники и единовольцы, как и она, тоскующие по «областям заочным», испытующие на себе суровые заповеди, их всего-то десять, нужных для человеческого выживания. С неопитской надеждой, с затаённым дыханием они вспахивали тома русской религиозной мысли, разворачивали книжные мудрости лицом к народу. Пытались, так сказать, удержать свечу в беспламенном мире.

Объёмистые тома, россыпи слов, колоссальные библиотеки — вечное обольщение человечества отыскать верные пути для непутёвой жизни. А жизнь-то, как выяснилось, не терпит повелительного наклонения. С годами, уже проводив в могилу всех самых близких, вдыхая разрежённый воздух одиночества, она стала понимать, что для жизни достаточно лишь строчки — единственной, милующей строчки, рождённой в той тишине, о которой принято писать с заглавной буквы. Такие строчки читались как молитвы. Их она и искала в клубящемся ворохе сегодняшних писательских умностей, из которых печально уходило волшебство.

Его она узнала по первому же сборнику, не лгущему до последнего слова. Это как первые аккорды Баха, обнимающие мироздание. Казалось, тайнопись его стихов предназначалась только для неё, понимающей каждую запятую, каждый чеканный шаг его мужественной, собранной рифмы. Как она ждала теперь его книг! Эта заочная связь душ была даже важнее, чем встреча вживую — честнее, безошибочнее. Его старое, изданное перечитывала чуть ли не каждый вечер. Включала настольную лампу — свою домашнюю лучину, под мягким светом которой за десятки лет было прочитано столько, что хватило бы на городскую библиотеку, — и замирала над страницей. Тонкой жалостливой струйкой его слова текли прямо в уставшее сердце, давая продох, помогая тащить её сопротивляющееся тело в уготовленный день. У него был особый, редкий дар: кажется, про смерть он помнил больше, чем про жизнь, может быть, поэтому слова его и не чахли за день, как у большинства нынешних литераторов, напористо собирающих на своих страницах лишь неугомонный шум истории. Сама она всё реже слушала этот шум. Ей стало казаться, что во все века шумят одинаково, только нынешние голосили каким-то охрипшим, надорванным фальцетом. Былые хотя бы по праву прошли кастинг истории на роль правителей и тиранов, а эти... Прав был в своё время неистовый Леонтьев, уже тогда «выбивавший стёкла» у сытых буржуа и восхвалявший исторических злодеев — хотя бы за их злодейское величие. Прожив почти столетие и с грустью уверившись в цикличности русской истории, она наперёд знала и речи сегодняшних воинственных консерваторов с их тоской чуть ли не по былинным временам, и столь же непримиримых борцов за свободу, стрелявших пером в любого, не прошедшего учинённого ими чистилища. Сколько таких она познала на своём веку, безжалостных, любующихся меткостью великолепных своих выстрелов. Казалось, они и сами забывали, за что именно вступили когда-то в этот праведный бой. Всё это было хорошо знакомым, читанным, прожитым и в некотором роде даже скучным.

А этот, узнанный ею, держался от всех в стороне и казалось, ничего, кроме страдающих слов, не искал. Нет, они сами его искали. И вдруг он замолк. Она пыталась тогда наводить справки в литературных кругах, терялась в догадках, беспокоилась. И вот спустя пару лет получила новую книгу его стихов. И поразились: сколько было в ней неожиданного и какого-то испуганного многословия. Будто он стал бояться заглядывать туда, куда упрямо вело его неподкупное слово. В этих непривычных, растекающихся стихах он теперь будто заговаривал свой дар, каждой строчкой пытаясь покрепче прикрепиться к земле, выжимая из неё живительные соки. Но как раз эти его новые, торопливые слова имели крепкий запах могильной земли. Она даже подумала остановить его, написать в надежде, что откликнется. Вечная уверенность в нужности слов при чужом отчаянии, скорби. И вечная тщета их отыскать. Не написала. Побоялась.

Ну что ж. Последние годы она жила покорно. Старость и не таких строптивых смиряет. По утрам, согнутая, крошечная, брела на кухню, громко шаркая стоптанными тапочками, словно оповещающая: «я всё ещё здесь». Осваивала искусство одинокого самостояния. Поддерживала огонь остывающего домашнего

очага, оживляла покрытые пылью натюрморты. Она нашла способ жить среди страдания. Но о такой героике лучше читать в книгах, на деле всё прозаичней и безжалостней. Жалеть-то некому. Стужа одиночества. Зябко. Она хранила верность старым вещам, посуде, чугунной почерневшей сковородке, помнившей ещё ту жареную картошку, которую наспех готовила перед приходом нечаянных, но всегда желанных гостей — тех любимых, своих. Они съедали потом эту картошку под хруст бодрых солёных огурцов, прихваченных кем-то из гостей на закуску. Сколько же теми вечерами было говорено, рассказано баек, читано стихов. Песни пели тихонько, чтобы не разбудить соседей. Всеобщая любимица Галочка так вдохновенно пела гаврилинскую Осень: «Где же этот сад, тот что был так рад...» Галочка и говорила особенно, какими-то грациозными словами, похожими на изогнутые лебединые шеи. Теперь так не говорят. Все тогда были полны надежды, чувства творческой неисчерпанности. «Где же этот сад»?.. Все ушли. Она держит каждого из них вблизи, у сердца и слышит их голоса лучше, чем живых.

Её квартира полна прошлым. Она часто доставала чашки из унаследованного от мамы сервиза, уцелели только две, с синими ирисами. Эти чашки помнят элегию последней встречи с Норой. В их дружбе сразу всё пошло без склеек, будто они изначально были вылеплены из одного куска глины, из той однородной спёкшейся массы, которая после обжига временем стала водостойкой и несгораемой. После смерти Норы от неё откололся кусок. Треснутым черепком с рваным краем она продолжала жить. Такие дружбы даются Богом, чтобы справляться со здешним земным холодом. Редкий дар. Чуть отогреешься, а дальше бреди одиноким путником, продолжай свою битву, назначенную судьбой, — не озверей, не обмельчай, не умри раньше смерти. А ведь она и похоронить Нору не смогла, сама тогда слегла с перитонитом в больницу. От неё до времени скрывали правду. Уже позже, узнав дату Нориной смерти, она вспоминала тот день в больничной палате — в окно светило яркое зимнее солнце. Нора не любила эти солнечные зимние дни, в них таился трагический обман природы.

Пять лет без Норы. её фотография рядом, у стола.

Да что считать потери. И сама уже на волоске от смерти. Иногда, возвратясь из похода в «Пятерочку» — эти выходы в свет всегда приобретали геройский статус, — остановившись отдышаться в прихожей, она как-то заново вслушивалась в свой примолкший дом: как странно думать, что когда-нибудь её тут не будет. Кто это написал? — «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Она смотрела на комнату, в которой прожила немного, немало, пятьдесят лет. Всё, чего касалась её рука, незримо как-то изменится, когда она уйдёт. Какой свет будет в комнате в тот день? Непостижимая тайна проникновения живого в неживое. И наоборот.

Покончив с утренней рутинной усилением, точнее бессилием едва двигающегося тела, она медленно усаживалась за чтение и переписку: вокруг всё ещё были начинающие литераторы разных мастей, надеющиеся получить от неё благословляющее слово. Она называла это — оказывать литературные услуги. Отказать не могла — вдруг и впрямь упустит то робкое, беспомощное зёрнышко

таланта, которому не выжить без щедрого полива. Она вообще не умела отказывать — совестно было. И совсем уж редко теперь бралась за перо сама, когда что-то томилось внутри, нарастая и настойчиво просясь наружу. Кто знает, может, когда-нибудь это выношенное и рождённое ею слово учуется ищущим сердцем другого. Когда писалось, она забывала об окружающем, о скованной старостью плоти, о времени, болезнях, боли. О, эти чары слов, воздух слов. Но ведь и обман слов, тщета слов — чаша, из которой всякий раз выбиралась наощупь.

В то утро она только собиралась сесть за корреспонденцию, когда позвонила племянница. Недавно Таисия сдавала анализы, последнее время жаловалась на общее недомогание, с поддельной бравадой шутила: вот найдут во мне какого-нибудь страшного зверя, и закончится наш с тобой поединок моим абсолютным триумфом. Нашли. Редкий, мало изученный, плохо поддающийся лечению рак.

Ошеломлённая известием о Таисиной болезни, она всю ночь не могла заснуть. Лежала, съёжившись под одеялом, на дворе дождь, сырость, ломило ноги, не могла найти терпимое, безболезненное положение. Уж слишком в лоб, с налётом какой-то провинциальной квази-мистики откликнулась судьба, явив так настойчиво запрашиваемое Таисией «отдохновение от зол жизни». Печальный триумф. А ведь как одарена была её племянница! Сколько всего она могла бы сделать. Интеллектуалка, с прекрасным голосом, блестяще знающая классическую музыку, окончившая консерваторию, но не пожелавшая вступать в эту человеческую суету ради места на музыкальном Эвересте. Её бессмысленная борьба с корявыми устоями людского общежития, заведомо и всегда проигрышная. Стала жить на ренту с дачи, доставшейся от отца-академика. Консерваторский диплом сгодился на редких домашних концертах, куда приглашались избранные малочисленные знакомцы, те, кто с первых же слов не вызывал у Таисии зевотную скуку. Общение с простецами она называла работой, а трудолюбием не отличалась. Замуж не вышла, детей не родила, полжизни безрадостно любила самовлюблённого пустого человека, он пользовался ею для отражения своего блестящего «Я». Плакучая ива, ветвями ниспадающая к земле под натиском неземной тяжести. Таисия всегда тайно завидовала тем лёгким, звонким, умеющим просто жить. Или жить просто. Если бы она так могла... Рассказывала, как сидела как-то в салоне красоты и слушала незатейливый щебет парикмахерши. Как ладно та управлялась со всей этой раскрученной машиной жизни. Стригла, сушила, мастерила причёски день за днём, успевала по телефону отчитать зависающего у компьютера сына, с мужем на даче баньку обновить, отдых спланировать в Турции, «всё включено», правда, исключая авторский творческий тунинг. Ну и ладно. И без творческого сойдёт. И всё это с каким-то тёплым, уютным дымком, вьющимся над крышей её добротной слеплённой хатки. И не догадываясь, что может быть иначе. Стотысячный круг на карусели, день за днём, без усталости, скуки, чувства обречённости. Простая, немудрствующая вера в правоту жизни. А Таисия, при своих талантах, не знала, где живой воды зачерпнуть. Одно время начала ходить к модному психогенетику, обещавшему отыскать поломки в её родословной. Тот после расспросов и раздумий предложил свой мистический триллер на основе реальных событий: бабушка Таисии когда-то тонула,

и вот Таисии теперь всю жизнь воздуха не хватает. Денег отнесла этому гуру немерено, а дышать всё равно нечем. А ведь бабушку-то, слава Богу, спасли.

Когда преследующая её мука обрела достоверную плоть, воплотившись в опухоль, оказалось, что Таисия совсем не хочет умирать. Думы о вечности её никогда не вдохновляли. Какими невыносимыми стали теперь их телефонные разговоры с тётушкой. Таисия будто всей пятернёй хватала её за горло, требуя анестезию от подступающего мрака. Вконец истощённая, положив трубку, та ползла на кухню — набираться тепла от электрического чайника. Какая грустная ирония — она, восьмидесятилетняя и едва стоящая на ногах, представала теперь такой шаткой оградой, защищавшей Таисию от страха исчезновения; с трудом по утрам выволакивающая своё тело из постели, она становилась единственной сопутницей и поддержкой Таисии на этом подгнившем мостике, перекинутом от маячащей смерти к жизни.

По требованию племянницы, преодолевая смущение, она после многих лет молчания теперь писала письма старым знакомым во Франции с просьбой достать нужные лекарства. Не веря традиционным врачам, которых в большинстве своём считала недоумками, Таисия списывалась с какими-то людьми в чатах онкобольных, где индийские доктора в качестве последней надежды предлагали таблетки из ветеринарного набора. Их почему-то можно было купить только в Европе. Она искала для Таисии нужных врачей, извлекая из давней телефонной книжки полезные контакты. Была рядом каждый день, в любую нужную минуту, молясь, чтобы Господь дал ей терпения и силы. Таисию было искренне жаль. Но почему она никак не могла найти слова, чтобы прожить эту жалость вовне? Почему всё, что говорила, выходило таким беспомощным, неуместным и жалким? Каким внешним оказывается всё это «выздоровливай», «ты не одна такая» перед лицом смертельного ужаса. Она, так блистательно владеющая речью, так безупречно чувствующая гениальную строчку, вдруг оказалась бессильной перед словом. Вспомнила, как знакомый иерей, знавший про их беды, произнёс задумчиво: ваши слова должны быть угаданы любовью. Но после их бесед Таисия становилась мрачней, вспоминала старые обиды, упрекала в старческом эгоизме. Не то! Не то! Опять не то. Как тяжело может быть это бремя «не тех» слов.

Врач предложил Таисии точечную более безопасную и очень дорогостоящую терапию. Нужны были деньги. Таисия разбудила её ночью, рыдая, просила отдать сбережения, отложенные на чёрный день. Её всегда легко было взять на жалость. Она отдала то, что оставляла себе на сиделку, лекарства, врачей — весь этот неизбежный стариковский набор. И похоронные отдала. Всегда изумлялась нынешнему рыночному спросу на этот новый психологический тренд — насчёт твёрдости личностных границ. Все теперь что-то охраняют, отгораживают, защищают. Кругом заборы, изгороди, колючая проволока. А в её стародавние времена проповедовали жесты безграничного великодушия. И все же, как обнажённо, зябко, страшновато она почувствовала себя без этой пресловутой последней, запасной «рубашонки». Умение хорошо жить и хорошо умереть, по утверждению Эпикура, это одна и та же наука. Она хотя бы была

последовательна. Никогда материально хорошо не жила. И умереть хорошо не получится.

Таисия редко её навещала. Хорошо, если появлялась раз в два года, а тут заехала забрать деньги и лекарства. В новом ярко красном пальто, при параде. Кинематографично, — подумала она, рассматривая этот живописный экспрессионизм.

Ей разрешили побыть на первой Таисиной химии. Единицей поддержки.

Накануне этого дня она совсем не спала, боялась не услышать будильник. Утром обессиленная, с кровоизлиянием в глазу, села в такси. Подъехав к больнице, видя, с каким трудом она выбирается из машины, таксист вызвался помочь. Она всегда бунтовала, когда её выделяли в особую касту — дряхлых, немощных, доживающих, списанных на обочину жизни, годных лишь как полигон для испытания людского милосердия. Она и в храме всегда вставала в очередь на причастие, твёрдо отклоняя жалостливые попытки пропустить её вперёд. Проповедовала, шутя, северокорейский принцип чучхэ — опору на собственные силы

Отказ от помощи таксиста дорого ей обошёлся. Вечное месиво московского грязно-серого снега на дорогах. Она упала, поскользнувшись. Тело тупой болью отозвалось на удар. Вокруг охали от ужаса, спешили на помощь. Её подняли, вручив отлетевшую трость, довели до больничного гардероба, а потом и до лифта. В туалете как могла, замыла грязную брючину. Внутри разрасталась обида. У каждого свой запас физической стойкости, — думала она, — её был на пределе. Лечь бы и лежать плашмя, только губами шевелить: Господи, помилуй. Ушибленный бок болел. С трудом опираясь на палку, добрела до палаты. Но увидев Таисию с капельницей, притихшую, испуганную, снова почувствовала жалость на сердце. Таисия встретила её неожиданно обрадованной улыбкой, бросив беглый взгляд на мокрую штанину. Смутившись от этого взгляда, она ещё раз пережила позор своего падения.

Обменявшись дежурными «как ты?», они сидели почтительно примолкшие перед таинственной животворной работой этой мутно-белой жидкости, через тонкую трубочку, каплей за каплей, бегущей Таисии на подмогу. Вокруг — всё заполняющая стерильность больничной палаты.

Таисия в этот раз была молчалива. И вдруг проговорила сдавленным каким-то голосом, словно вот-вот заплачет: «Спасибо тебе».

Господи! Как она боялась её слез. Да ещё сейчас, в момент торжественной инициации первой химии. Бросилась что-то говорить, убеждать, мол врачи знают, что делают, и они ещё отпразднуют Таисин юбилей. «Я не из-за себя плачу, из-за тебя, — всхлипывала Таисия, — ты прости меня за всё».

— Господи! О чём ты говоришь? Что они тебе там вливают? За что мне тебя прощать? — поражённая, она совсем смешалась, торопливо принялась раздирать молнию в сумке, искать какие-то платки, салфетки — для Таисии, для себя. У самой во рту солоно стало. Они как-то неловко обнялись, боясь обрушить эти шаткие медицинские конструкции. А потом перестали стесняться, сидели и плакали вдвоём, впервые до незнакомой раньше глубины проживая и своё кровное родство, отмеченное духом их вольнолюбивых, несдающихся предков,

и ту общность бескомпромиссной жизни: две невыносимо уставшие женщины некрепкой рукой дописывали конец своей биографии.

Таисия оставалась ночевать в больнице. Такой день всегда бывает один и навсегда. «Ты меня не оставляй, — произнесла Таисия на пороге. — Одну здесь, и вообще не оставляй».

Среди синеватого московского вечера она добиралась домой. Снег притушил грязь. Таксист, пожилой, усталый, погруженный в свои думы, аккуратно вёл машину и не лез с разговорами. Первый раз за годы она с лёгкостью ощущала себя в своём теле. Будто с неё сняли стальной, тесный обруч, позволив дышать глубоко и вольно. А ведь и не надо никаких высоких слов, — думала она. А вот так просто дуть тихонько на рану, как мама в детстве дула, бережно касаясь больного места, каждого рубца, онемевшего от удара сердца. Баюкать, пока не утихнет боль, не отпустит, не уйдёт, как в детском раю «от Яси — восвояси». И в этом плачущем от боли слове может и есть его главное осуществление.

Добравшись до дома, она села писать тому испугавшемуся поэту, о котором не переставала думать всё это время. Теперь она знала, что ему сказать.

Поздно вечером из больничной палаты позвонила Таисия.

— Знаешь, — сказала Таисия, — а ты герой. Я без пафоса. Правда.

— Я не герой, — спокойно, без улыбки ответила она. — Я просто не отказываюсь жить.

Растирая и поглаживая ушибленный бок, усмехнулась про себя: болят старые раны.

Евгения Джэн Баранова

Сквозь виноградник в Арле

* * *

Когда февраль, нельзя существовать,
поэтому так сумерки всецелы,
так женщина, ушедшая рожать
в хрущёвку, возвращается без тела.

И всё-то ей одно, проходит луч
сквозь контуры, но солнечная сажа
не может запечатать, как сургуч,
объединить незримое с пейзажем.

И раз, и два — остался ни один,
гулёна «не» — неверная частица.
И звёздный путь, сожжённый, как Берлин,
ненужным молоком ещё сочится.

* * *

Сидящие тихо в своём блиндаже,
и те, от кого не осталось уже...
и те, кто молился, и те, кто робел, —
коричневый пепел, двухтомники дел.

Завязочки рвутся, бумага теснит,
в таком-то родился, в таком-то убит,
тогда-то уехал (вернулся когда?),
снежинки-слова на поверхности рта.

Евгения Джэн Баранова — поэт, переводчик, соиздатель журнала «Формаслов». Родилась в 1987 году. Окончила Севастопольский государственный университет. Автор пяти поэтических книг, среди них «Рыбное место» (СПб., 2017), «Хвойная музыка» (М., 2019), «Где золотое, там и белое» (М., 2022). Финалист премии «Лицей» (2019), лауреат ряда литературных премий, в т.ч. премии «Содружество дебютов» (2020), журнала «Дружба народов» (2019). Живёт в Москве.

И как уместить нерождённых внучат
под личную подпись, в неназванный сад,
с женой, с фотографией,
впрочем — куда,
куда улетела живая вода?

На жёлтой бумаге в крошечном окне
увидеться с вами придётся не мне.

А может, и с нами...
А может, и зря...
Какая над миром чернела заря!

* * *

В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав...

В.Маяковский

Из керамического улья
слова взлетают просвещённые.
Кого с тобою обманули —
не Маяковского с Кручёных ли?

Одежда дрожью не встревожена,
не исцелована передняя.
Я так тебя теряла, Боже мой,
от первого и до последнего.

Скользила уточкой по пенному,
по полю минному мешалась.
От вулканического плена я
рубашкой писем защищалась.

И вот закат линияет искрами,
в латуни гибнет позолота.
Я так тебя теряла истово,
что не заметила кого-то.

* * *

Ты странный
(я люблю тебя)
ты странный

И в этом столько
— стук печатных губ.

И в этом столько
— солнечный паук
из мушек собирает оригами.

Ты стра-
Ты -нный
Ты снился на субботу
(Матрёна Скотница,
Игнат Козлобород).

Ходил вокруг меня, как водят вальс,
как водят 5-Б смотреть на мёртвых.
(Замрите, дети, Коля, не шуми,
представьтесь, дети, это аллозавр).

Алло, алло —
и странствия,
и страх.

Алло, алло —
стекло для лаборанта.

Какой ты странный —
хочется сказать,
но всюду блеск окаменевших капель.

* * *

Однажды ты дал мне столько любви,
что я не умела её носить,
я только смотрела, как носят другие,
жалела изодранные края.

Однажды ты дал мне столько любви,
что я держала её за дверью,
купала, взвешивала, сушила,
роняла розовый поводок.

Однажды ты дал мне столько любви,
что я проснулась в четыре тридцать,
и стрелки внутри у меня сломались.

Теперь я не знаю, откуда вечер
приходит в сломанные глаза.

* * *

Нарисуй мне бабочку, попробуй,
булкой французской похрусти,
я читаю Мандельштама, чтобы
внутреннего Осю обрести.

Жарко прикоснусь к тебе футболкой...
(Замелькают звёздочки в душе?)
Нарисуй мне мысленного волка —
мой волчок запыхался уже.

Так-то я напарник неприятный,
ломкая ржаная пустельга,
но пока линияют тела пятна,
но пока я верую слогам,

есть немного музыки в бокале,
не ползёт над полем самолёт...
Нарисую Лиличку, пожалуй.
Женщину лишь женщина поймёт.

«Пшеничное поле с воронами»

Я хочу целоваться, так хочу целоваться.

- Рядом с камином в особняке Ростовых
- Рядом с Наташей в собрании сочинений
- Шевеля кандалами скользких дверных цепочек
- Облокотившись на пирамиду в Лувре

Но взрослые люди так не целуют
или
взрослые люди так берегут талончик,
они занимают очередь, смотрят в кассу,
они улетают к греческому посольству.

Помнишь,
когда-то
я повредила ногу,
долго хромала
сквозь виноградник в Арле,
пересекала пшеничное поле —
птицы
чёрными буквами мёртвому улыбались.

От поцелуя многое не зависит,
но целоваться стоит, пока мы живы.
Мёртвые губы слушаются не лучше,
чем проститутки слушаются Ван Гога.

— Чем пирамиды слушаются Хеопса
— Чем запятые слушаются Толстого
— Чем я тебя стану слушаться,
если встречу,
а ты меня снова-снова не поцелуешь.

Елена Долгопят

Царь лев

Рассказ

...Я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев плохо спит, мучимый ревматизмом, и что сейчас бедняга, наверное, уснул и ему снится ростовский цирк — там было тепло и там у него осталась одна знакомая, больная астмой сторожиха. Он тосковал по ней.

Виктор Драгунский. «Сегодня и ежедневно»

В сентябре 1939 года к мачехе приехал её сын Герка, высокий, черноволосый, со сросшимися над переносицей, как бы навсегда сдвинутыми, бровями. Увидишь его и сразу подумаешь: сердитый какой. Улыбаться он умел, но чудилось, что не улыбается, а посмеивается. Вроде как знает о тебе что-то унизительно-комичное (чего ты сама не знаешь и, пожалуй, не хочешь знать). Лиза, когда видела его улыбку, отводила глаза. Его улыбка её пугала. И голос пугал, тонкий, тихий, чужой этому большому телу.

Увидели они друг друга впервые. До того мать предупреждала сына в письмах, что у её нового мужа есть дочь, рыжая, белая, конопатая, тощая, ленивая, точь-в-точь её покойная мать.

«Ленивая» падчерица мыла в доме полы, таскала воду из колонки, колола дрова, топила печь, выносила помой. В школе Лиза не успевала, училась с тройки на двойку и обратно. Первого декабря 1938 года ей исполнилось пятнадцать. День рождения не отмечали, подарков не дарили; впрочем, в их семье ни у кого не отмечали дни рождения, не больно-то о них помнили.

И вот летом следующего, 1939, года Герасим (полное имя Герки) окончил Ленинградский институт железнодорожного транспорта, поступил было в аспирантуру, но затосковал, написал матери, что наскучило грызть науку,

Долгопят Елена Олеговна — прозаик, кинодраматург. Родилась в городе Муроме Владимирской области в 1963 году. Окончила Московский институт инженеров транспорта (1986), сценарный факультет ВГИКа (1993). Публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир» и других. Автор книг прозы «Тонкие стёкла» (Екатеринбург, 2001), «Гардеробщик» (М., 2005), «Родина» (М., 2016), «Русское» (М., 2018), «Хроники забытых сновидений» (2022). Лауреат премии «ДН». Наш постоянный автор.

больно черства, хочется живого дела. В сентябре он получил направление в Казань и по дороге заехал домой.

Он привёз большой тяжёлый альбом, так называемый выпускной, с фотографиями на листах из плотного гладкого картона. Изумительные фотографии, чёткие до головокружения, — казалось, ещё немного всмотришься и провалишься прямо туда, в картинку, в аудиторию или в лабораторию со студентами. С самого первого листа сурово смотрел Герасим. Каждый лист берегла полупрозрачная слюдка (так мачеха называла эту тонкую шелестящую бумагу, под которой фотоснимки как бы скрывались в тумане).

Лизе мачеха альбом взять в руки не позволила, но не прогнала, когда смотрела сама, разложив на чисто протёртом кухонном столе. Мачеха сидела за столом, Лиза стояла рядом, едва дыша, и всё видела. Герасима в это время дома не было, навещал друзей, вернулся, когда все уже спали.

Жилая часть дома состояла из проходной кухни и комнаты. В кухне помещались печь, буфет, стол у окна, жёсткие, с прямыми высокими спинками стулья. У двери, ведущей в коридор, прилажена вешалка с крючками для верхней одежды и с полочкой для головных уборов. По другую сторону от этой двери располагался короткий диван. Свисавшую с потолка над столом лампу можно было поднять или опустить. Абажур был из белого матового стекла. Вторая дверь вела из кухни в комнату, в ней имелись этажерка с книгами, высокая кровать с панцирной сеткой, громадный шифоньер с зеркалом, стол для раскройки и швейная машинка «Зингер». Мачеха на работу не ходила, числилась домохозяйкой, а шила на заказ частным образом, брала деньгами, брала и натурой (яйца, сметана, масло, свиной окорок, мочёные яблоки и прочее разное, не исключая подсолнечную халву), так что дом их считался обеспеченным.

В комнате на высокой кровати спала мачеха с Лизиним отцом, Лиза ночевала в кухне на диване, а когда приехал в гости Герасим, постелила себе в коридоре на двух сложенных вместе половиках. Для тепла Лиза придумала завернуться в старый отцовский тулуп.

Над ней висело цинковое корыто, из рукомойника размеренно капала вода. Стены, потолок и пол в коридоре были дощатые, половицы крашенные, а потолок и стены потемнелые. Если включишь лампу (голая лампа на витом шнуре), то увидишь паутину в углу под потолком. Лиза, пока не уснула, воображала, что она спит не в коридоре, а в корабельной каюте, а куда плывёт корабль, неизвестно. Проходу из коридора в кухню и обратно она не мешала, постель её была устроена в торце, за рукомойником, над подполом.

В тот день, когда разглядывали фотографии в альбоме, Герасим долго не возвращался, так что легли спать без него.

Ночью Лиза очнулась. На полу возле неё сидел Герасим и смотрел без всякого выражения. В коридоре горел свет. Дверь на крыльцо была чуть приоткрыта, и казалось, что ночь подглядывает в образовавшуюся щель. Как будто у ночи есть глаза.

— Ты чего? — прошептала Лиза.

— Молчи, — тонким голосом сказал Герасим и коснулся пальцами её губ. Будто печать поставил.

Он смотрел ей в глаза. Лиза молчала. Он раскрыл полушубок, задрал на Лизе рубашку. Смотрел на неё голую. Сжал маленькую грудь. Лиза не могла шевельнуться от страха. Он встал. Постоял над ней. Расстегнул и спустил брюки. Она боялась смотреть туда, на открывшееся. Он опустил на колени, раздвинул и приподнял ей ноги, лёг на неё. Лиза всё время смотрела на лампу и ослепла от неё, она думала: скорей бы всё кончилось, и даже это уже не думала. Было тяжело, больно, страшно, Лиза не мычала, не стонала, ведь он запечатал её губы.

Герасим обмяк, полежал на ней, приподнялся. Лиза не смотрела на него, всё на лампу. Он натянул брюки, подошёл к выключателю, погасил свет. Открыл дверь в кухню и ушёл туда. Там, наверное, лёг на диван и уснул.

Лиза осталась одна. Она не шевелилась, не плакала. Вода капала. Скребла мышь или крыса. Видимо, в подполе. Ночь смотрела в щель. Лиза расправила рубаху, завернулась в тулуп. Он был мокрый в том месте где она... Где он... Где всё это происходило. Лиза хотела поскорей забыться сном, а во сне умереть, но не умерла, проснулась. Лиза свернула полушубок и затолкала на печь.

Завтракали вчетвером, семьёй. Чай и хлеб с маслом, отварная картошка. Миска с солёными огурцами. Герасим ел их один за другим. Больше никто не притронулся. И хлеба он брал один ломоть за другим. И масло мазал толстым слоем, не жалел. Большой, голодный. Отец ушёл на станцию, в депо. Герасим отправился в город. Лиза ушла в школу. И там даже смеялась какой-то ерунде с девочками.

Вечером, перед сном, Лиза сняла полушубок с печи, ушла с ним в коридор, там, в том месте, всё стояло колом и пахло железом. Она размяла, выскребла из шерсти засохшую кровь. Как могла.

В эту ночь он вновь пришёл к ней. Постоял в кромешной тьме. Так долго, что Лиза уже поверила, что его там нет. Щелчок выключателя был как выстрел. Вспыхнул свет.

Лиза сама развернула полушубок. Сама задрала рубашку. Сама раздвинула и согнула в коленях ноги. Он улыбнулся. Стоял над ней, медлил. Он был в белой нижней рубашке и в белых подштанниках, босой. Наклонился, приподнял её, посадил спиной к стене, встал на колени, взял её руки в свои. Теперь они принадлежали ему. Этими послушными ему руками он спустил с себя подштанники и принялся щупать и гладить её руками всё своё, на что она боялась смотреть и не могла, не смотрела. Дверь из кухни вдруг приоткрылась и тут же затворилась. Герасим не обратил на это внимания. Пальцем открыл ей рот, пальцем двигал у неё во рту, свободной рукой заталкивал свое отвердевшее, большое, туда, в неё. Она принимала. Кусала губы. Терпела, молчала. Он закончил, поднялся, натянул подштанники, погасил свет, ушёл к себе на кухню. На Лизу не взглянул.

На третью ночь он домой не приходил, вернулся под утро, пахнувший вином и какими-то духами. Поспал два часа, собрался и отправился на станцию. Мать его провожала. Лиза в это время сидела на уроке, учительница рассказывала про тангенс и котангенс, Лиза не понимала, смотрела, как у неё шевелятся губы, вот и всё.

Галина Калинкина

Глубина промерзания

Рассказ

Чатик блям-блям: приглашаем на поэтический плэнер на Донском кладбище.

Малахи выбралась из кресла под литографией с портрета Елизаветы Второй и, надёжно одевшись, вышла на улицу. Выйти на улицу — чего проще? Миллионы людей ежедневно выходят из своего дома не по одному разу в сутки. Но если знать, что прежде Малахи не покидала квартиру четыре года, то можно себе представить тот фурор, который произвело на членов клана и домовое сообщество её исчезновение. Сиделка Сима, выгуливающая собаку, по возвращении застала квартиру пустой. Тут же пошли звонки в три московских дома и в подмосковное Ильинское: *sos*, Малахи пропала. А пёс неблагородных кровей уткнулся носом в порог входной двери и заскулил. Через два часа безуспешных поисков скулёж превратился в тоскливый вой.

К тому же стоит учесть льды, сковавшие город, и арктический холод, посетивший столицу. Сверхъестественная зима. Город под бесконечным снегом превратился в промёрзший черёмуховый сад — черёмуха всегда несёт холода. На короткое время в городе закончился «бордюринг», земля промёрзла. Пропали дворники и таксисты. По улицам разъезжали закутанные в прозрачную плёнку курьеры на велосипедах, доставлявшие товары не первой необходимости по скользкому льду. Жижу на мостовых взбивали в жирное масло металлические ковчеги — *Naval* и *Huawei*, останки отечественного автопрома осели сугробиками возле дворовых помоек. Существование жизни на обезлюдевшей земле города подтверждали почтовые роверы, с маниакальным упорством робота ползущие заснеженными улицами к цели. Кто их цель, — ты? Роверов не смущала пропажа

Калинкина Галина Евгеньевна — прозаик, критик, эссеист. Родилась и живёт в Москве, окончила РГГУ. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Автор книг малой прозы: «Поверх крыш и флюгерных музык» и «Идти по прямой», а также романа-надежды «Лист лавровый в пищу не употребляется» (сага о старообрядцах). Лауреат ряда литературных конкурсов.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 6.

дворников и таксистов. Им хорошо в пустом пространстве. Город — для роверов! И только нечищенные тротуары создавали препятствия буксующим колёсикам. Но тут же из туманного безвременья мёрзлого черёмухового мегаполиса выбирался обледенелый прохожий и пихал робота ногою, а более гуманный бережно переносил автоматического «почтового голубя» через сугроб.

Песни «муэдзинов» раздавались с жестяных крыш. Трижды за неделю принимался сыпать сплошной черёмуховый снегопад, и трижды молодеватые дети степей и пустыни чистили покатые бока крыши восьмиэтажки на Домниковской улице, в Докучаевом переулке, обращая протяжные молитвы к небу и не думая, что их слышат на земле, причём все восемь этажей бывшего доходного, ныне ведомственного дома.

Страшные льды стояли в городе. Человеку нужно было сперва решиться «переплыть» обледенелую или «жирную» мостовую, прежде чем ступить на неё. В лёд вмёрз след человека, мятая сигаретная пачка, пивная пробка. Но ещё не остыла надежда: может, из-под льда засветит нам звезда.

Коченели зелёные человечки переходов. Выстраивались километровые очереди из самосвалов у снегоплавильной станции на набережной Яузы; снегоплавильня не справлялась с обилием грязной прессованной массы.

Судя по объявлениям в бесплатной районной газете, востребованной стала профессия «тракторист». Трактора в городе есть, а трактористы вывелись.

Так и жили той зимою. Где-то далеко, кажется, шла война. Но не в этом городе.

Здесь по-прежнему завёрнутые в целлофановые скафандры доставщики развозили в уикенд пищу, бургеры и суши. Здесь по-прежнему не собирались признавать конец эпохи гламура и наступление «времени хаки».

Шла та зима, что называют снежной зимой, в какой всякий неосторожный прохожий рискует затеряться в безвременье.

Шла зима из тех зим, что помнят долго, несколько лет; виной чему небывалые морозы, запредельный холод в домах, бесконечные поломки труб отопления.

Шла та зима, в какую сущие пустяки — неубранные сугробы, скользкие тротуары, сосульки размером с Ниагарский водопад — неоправданно остро возмущали горожан и переполняли чатики.

Шла та зима, что как вставший лёд на Москва-реке — вставшее время, вставшее, кажется, навсегда, навечно.

Чатик блям-блям: подайте заявку на бесплатное обучение в Китае. Соседи, я не шучу, бесплатно. Осталось последних 35 мест.

Предыдущие две недели клан Хавронских занимало предчувствие скандала. Все были настроены по отношению друг к другу. Из дачного Ильинского от зимовавшей там родни шли беспокойные эсэмэски по вопросам назревающего наследования. И, возможно, скандал разразился бы со дня на день, если бы в один ничем не примечательный день не произошли совершенно невозможные

события, которые перебили иные внутрисемейные инсинуации: кража у Петуховых и внезапное исчезновение Малахи.

Давным-давно отец оставил им счастливую семью. Он был призван поздней осенью. Во что семья превратилась без него — это единственно их заслуга. Похороны отца прошли по высшему разряду. Генералов хоронят в черте города, на старых, давно закрытых кладбищах, которые от случая к случаю обновляются свежими подзахоронениями. Отпевали в приземистой, тесной, как непропечённый кулич, церкви. Гроб несли на руках солдаты, за ними чеканил шаг почётный караул с медалями, орденами на бархатных чёрных подушечках и казённым портретом в парадной форме. Скоростное шоссе перекрыли. Красные флажки колонновожатых рдели на ветру. Автомобили, скапливаясь, замерли на двух встречных полосах, пока процессия пересекала дорогу. Чёрное шествие на минуту напомнило водителям о бренности жизни, преобладающий защитный цвет толпы указал: смерть звёздочки на погонах не считает. Путь от церкви-кулича до дышащей жаждой ямы был самым сложным из всей церемонии. Духовой оркестр военных музыкантов вытягивал последние усилия души утерпеть без слёз. Особенно напирала тубы. А когда гроб окунули на канатах в прореху земли и когда сквозь глухие рыдания, сквозь прощальные речи застучали мёрзлые комья о деревянную крышку, выстрелы шести карабинов вспугнули с голых берёз кладбищенских ворон — вечных свидетелей жизни и смерти. Вороны скрипуче разлетелись под оружейное эхо. В залёгшей тишине жутко лязгнули о металл соседней оградки острые лезвия лопат, землекопы счищали налипшую грязь с орудий своего ремесла. Дочери генерала жались друг к другу, впервые в своей жизни столкнувшись со смертью. Генеральша упала на свежую насыпь, озадачив распорядителей с повязками на руках шинелей — обморок в отлаженном сценарии похорон не значился.

Мрачно, но широко помянули в девятый и сороковой дни. Проще отметили полгода — узким кругом. Жизнь наследников никак не могла войти в колею. Две взрослые дочери на выданье срочно должны были составить хорошую партию. После санкционированного и благопристойного замужества старшей с подающим надежды теннисистом Петей Петуховым, с положенным «прошу руки вашей дочери», мендельсоновской тоской в ЗАГСе, ресторанной вакханалией и брачной ночью, когда молодожёны яростно отсыпаются за все три месяца суеты, младшая несанкционированно сбежала с соседом-биологом, защитившим кандидатскую диссертацию по теме «Изучение функций каудальной части гиппокампа у мышей и полёвок». Мать-генеральшу утешило в побеге некоторое преимущество: жених — единственный сын и обладатель квартиры родителей, вынырывающих из одной заграникомандировки в другую, в их ведомственном доме на Домниковке. Когда и генеральша отправилась вслед генералу, обе дочери пребывали в состоянии отягощённости семейными узами и в далеко забальзаковском возрасте, что, правда, не помешало младшей впоследствии сменить трёх мужей, плавно перейдя от биолога к гобоисту, от гобоиста к скульптору-монументалисту.

Лев Усыскин

ГНИДЫ

Маленькая сентиментальная пьеса

Эргали Геру, собрату

1

То лето десятого года... оно пришло сперва вялым избавлением от незадач весеннего морока и неуютя, проросших, в свою очередь, на руинах мучительной и долгой зимы. Но в середине своей уже выдалось беспримерно жарким и сухим, то и дело город застилал лёгкий розоватый туманец, спрыснутый кисловатой гарью лесных пожаров, и всё вокруг пропиталось тогда праздничным, по своей сути, ощущением стихийного бедствия, карнавального времени, с которого, конечно же, взятки гладки и которое в любом случае невзачёт: известно, что его потом попросту не будет при подведении баланса в нудной бухгалтерии жизни, его, разумеется, вычтут оттуда напрочь, мол, пересидели и слава богу — а как иначе? Пересидели — и двинулись дальше.

И, кажется, всякий в те дни делал что хотел, упрощая свой быт так, как никогда бы себе не позволил в обычное время: можно было вовсе не застилать постели, не менять белья — даром ли полдня и так проводишь под душем, — да и по квартире слоняешься тоже гольшом, а значит, одежды не пачкаешь... А, к примеру, мой полоумный сосед выставлял на подоконник миски с водой — поить голубей, — и голуби в самом деле прилетали к нему и пили совершенно по-человечески, шевеля щеками, жадно засасывали в себя воду.

Помню, в августе, наконец-то, стало чуть-чуть прохладнее и удалось бы вполне выдохнуть накопившуюся усталость, но ещё за месяц до этого, в самом начале июля, дома у меня случились нечаянные гости — вернее, гостья. В общем, раз поутру объявилась такая Алёнка двадцати семи лет, носившая странное

Усыскин Лев Борисович — прозаик, эссеист, публицист. Родился в 1965 году в Ленинграде. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и других. Автор книг прозы, в том числе «Время Михаила Маневича», «Необычайные похождения с белым котом», «Длинный день после детства» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 4.

до неприличия прозвище Сурикат. И в самом деле, наяву — взбалмошная ломкая девица откуда-то из Подольска или, если не путаю, Ногинска, сбежавшая от тамошнего мужа куда глаза глядят, и среди зигзагообразных метаний по знакомым и знакомым знакомых сосватанная уже и мне на пару месяцев одним нашим общим московским приятелем, толстым сангвиником, склонным к вдумчивому и старомодно-неторопливому в своей безжалостности сарказму. Приятель этот знал мои обстоятельства: я в те годы жил один с июня по сентябрь. Дочка со своей матерью (и, стало быть, моей бывшей женой, всё никак не решавшейся поделить после развода ребёнка и нашу робкую совместную недвижимостью) пересиживали жару на полуразвалившейся дедовой даче, текущей работой я тоже не был чрезмерно обременён — в общем, заняться было по большому счёту нечем, и я, конечно, рад был подвернувшемуся новому человеку, чего уж тут говорить.

В постель её даже не пришлось особо заманивать — всё как-то сложилось само.

Помню, уже в первый вечер я застал её в ванной, куда заглянул вымыть руки. Алёнка принимала душ и, когда я вошёл, ожидаемо скрывалась за плотной и практически непрозрачной полиэтиленовой шторкой с легкомысленным узором из бабочек и крылатых жуков — я, собственно, другого и не ожидал, отсюда кажущаяся бесцеремонность моего вторжения. Однако стоило мне включить воду, как занавеска тут же была откинута в сторону и гостя тем самым предоставила себя моим глазам, что называется, в полный рост.

Тут уж мне и впрямь стало не до мытья рук: обернувшись на шелест, я прислонился к раковине и, дав воде свободу бесцельно течь у меня за спиной, принялся смотреть, как Алёнка, словно бы не замечая меня вовсе, расчёсывает под душевыми струями ниспадающие до пупа палисандровые пряди, — сгоняя разводы белой пены от корней волос вниз, к неровно остриженным кончикам. Волосы и вправду были шикарные — и, зная это, девушка, похоже, не жалела на них времени. В какой-то момент она всё же подняла на меня глаза, чуть виновато улыбнулась и произнесла, словно бы извиняясь:

— Отрастила вот сокровище... приходится мыть каждый день... зато всегда со мною, ближе, чем самый близкий мужчина... я даже разговариваю иногда с ними...

С этого всё и началось.

Её тонкие волосы меня возбуждали необычайно — непослушные, они тут же ускользали, едва я пытался взять их, не находя препятствий, уходили сквозь пальцы, будто жидкость, и после — нежным, чуть заметным касанием задевали мои плечи, шею — вызывая сладкое томление, взыскующее своего разрешения.

Сказать, что в постели с ней было хорошо, значит, ничего толком не объяснить — пожалуй, это был довольно специальный род эротического удовольствия, зависимый в своей густоте не от страстности отклика партнёра, как чаще всего бывает (по этой части Алёнка если и выделялась, то как раз в обратную сторону), а от того, что выражается английским словом *attitude*, то есть позы, осанки, чего-то такого. Говоря по-простому, она отдавалась с такой обворожительной, чуть виноватой и в то же время насмешливой покорностью —

как всё равно банковская операционистка, добровольно записавшаяся зачем-то в гарем махараджи, — словно бы немного опасаясь что-то сделать не так, неправильно, нарушив договорённость и не оправдав надежд. И вот этот очаровательный модус сохранялся едва ли не до момента кульминации, и лишь затем, успокоив дыхание, она подымала на меня большие влажные и тёмные глаза, исполненные усталого удовлетворения. И загадочно улыбалась.

2

Как-то в начале августа, месяц, наверное, с небольшим со дня Алёнкиного появления, мы ужинали с нею вместе — даже помню, что ели что-то рыбное и запивали это что-то крымской мадерой, неожиданно обнаруженной мною в кухонном шкафу позади двойной шеренги малосъедобных маринованных патиссонов — должно быть, в качестве привета от записок прошлой жизни, в которую, слава богу, нету теперь возврата.

Против обыкновения, трапезничали мы молча: гостыя весь день провела дома, я тоже никуда не выходил — словом, друг другу несколько намозолили глаза, что практически неизбежно в этой ситуации. Я, стало быть, исправно ковырялся в своей тарелке и, увлечённый этим занятием, как-то даже упустил момент, когда девушка, отложив вилку в сторону и торопливо опрокинув в рот последние несколько капель мадеры со дна бокала, вдруг уставилась на меня, будто сова или в самом деле — сурикат: слегка склонив голову на бок и не мигая. Я, однако, вскоре почувствовал этот направленный на меня взгляд и в свою очередь поднял глаза.

— Ты чего?

Она еле заметно вздрогнула.

— А? Ничего.

— А чего так смотришь?

Алёнка мотнула головой.

— Нет, ничего. Ничего, так. Просто... просто надо что-то сделать.

— Чего? Что сделать?

— Ну, что-нибудь. Полезное.

Она улыбнулась виновато.

— Что-то предпринять, ну такое...

Я нахмурился, ожидая какого-то подвоха.

— Какое такое, что предпринять?

Алёнка откинулась на спинку стула, обвела кухню взором и вновь улыбнулась — на этот раз улыбкой взрослого, терпеливо разъясняющего очевидную вещь ребёнку.

— Ну вот, скажем... только ты, короче, не обижайся! Не обидишься, ладно?

— Не обижусь, валий.

— В общем, вот мы спим... на постели... там бельё... уже не совсем... не совсем свежее...

— Так надо поменять, хорошо. Чего тут обижаться.

Она вновь замотала головой.

— Не в том дело. Оно даже чистое какое-то... какое-то у тебя... ну, не свежее, изношенное.

— Ну так и что? Я не пойду покупать другое.

— Покупать не надо. Надо крахмалить.

— Чего?

— Ну, крахмалить. У тебя есть металлическое ведро? Или большой таз? Крахмал я у тебя нашла в шкафу.

Я поперхнулся рыбьей косточкой.

— Ну да, есть. Где-то был. Алюминиевый таз. Но я не буду этим всем заниматься, ты уж прости...

— ...А тебе и не надо заниматься. Я же сказала — я сама всё сделаю. Завтра с утра займусь. Это такое старинное, доисторическое занятие, да... когда дети малые или что... вот моя бабушка...

— Ты сама-то видела когда-нибудь? — я примирительно долил мадеры.

— А то! В детстве у нас дома, считай, каждую неделю...

Она улыбнулась улыбкой кошки.

— Я всё сделаю! Честно-честно, не парься ни разу! Просто — не мешай.

Сказано — сделано: следующим утром мой дом наполнился какой-то совершенно античной вознёй. На газовой плите в жестяном ведре варились простыни и наволочки — Алёнка что-то подсыпала туда и время от времени помешивала их найденной в моём неисчерпаемом жилище длинной сосновой веткой, очищенной от коры, — в эти моменты она напоминала сущую Бабу Ягу из детской сказки... (Я же при этом оплакивал свои когнитивные способности, поскольку так и не понял, почему не годилось застирывать всё это в стиральной машине.) Затем в алюминиевом тазу и впрямь развели пачку крахмала... затем она полоскала в этом вываренное и отжатое бельё, и после — развесила его по всей квартире на просушку, превратив на время моё жилище в подобие мачты старинного парусника с её марселями и брамселями и едва ли не морским влажным запахом. А уже ближе к вечеру Алёнка принялась орудовать утюгом — и это тоже было зрелище, скажу я вам: голая по пояс, с собранными на затылке в большущий шар волосами, она походила теперь на какого-то второстепенного персонажа барочной живописи — наподобие одной из служанок Омфалы, приманивающей к своей повелительнице обескураженного Геракла.

В постель я был приглашён едва ли не торжественно: разделся, и мы легли рядом — на хрустящие от крахмала подушки и пахнущие всё тем же зимним морем простыни. Результат и впрямь стоил хлопот — я включил верхний свет, и снежно-больничная белизна заиграла едва ли не голубым отливом...

— Кайфово, да? — Алёнка явно была довольна. — Правда, кайфово? Сознайся, уже и не вспомнишь, когда в прошлый раз... такое шуршание... чистоты... и вообще... но тут главное — запах... запах и тактильность... вот всем телом...

Я лежал на боку, подперев скулу кулаком, и глядел на Алёнку, на её пленительно-нелепые сиськи:

— И что, скажи, тебя на это вот именно сейчас надоумило?

Алёнка пожала плечами, насколько это было возможно лежа:

— Даже не знаю... такое... бабахнуло вдруг в голове... когда рыбу ела... неожиданно... вспомнила, что такое другие делали когда-то, и вот решила. Дай, думаю, попробую. А что?

— Не, так просто. А скажи, когда ты с мужем жила, — ты вот часто... такое?..

Алёнка вдруг нахмурилась, затем стала энергично трясти головой.

— Нет. С ним — никогда. И вообще раньше — ни разу. Это мне только сейчас придумалось, я ж говорю. В первый раз. Вот честно!

Она стала поправлять подушку.

— А муж... мне, в общем, и не хотелось для него никогда... — Алёнка принялась зачем-то разглядывать подушку, держа её в обеих руках и поворачивая к свету. — Он был такой... короче, не воодушевлял ни на что вообще... совсем не воодушевлял... такой... такой... Ой, Костя, смотри, что это?

— Где?

— Да вот, на подушке... вот, посмотри же!.. и вот ещё...

3

Я склонился над её подушкой. Прямо посреди арктической льняной пустыни чернели два продолговатых зёрнышка миллиметра в три длиной каждое, чем-то напоминавшие морковное или, там, тминное семя. И уже в следующее мгновение я заметил, что эти зёрнышки — шевелятся.

— Что это, Костя?

Я подобрал ноги и сел, прислонившись к стене. Каюсь, мне стало смешно.

— Ч-чёрт... Это... это же гниды.

— Кто? — Алёнка насторожилась.

— Гниды. Ну, вши.

— Вши? А откуда они тут?

— От тебя. С твоей головы, натрясла.

— Отсюда? — Алёнка собрала рукой волосы и взглянула на них озадаченно. — С моих волос?

Я кивнул.

— Но как же? У меня ведь никогда не было ничего такого. Я же мою каждый день, и вообще... Откуда оно?

— Видишь ли... (я слегка смутился) видишь ли, педикулёз... можно сказать... передаётся половым путём... в твоих волосах они, вестимо, с моих волос... откуда ещё...

— С твоих? И ты... знал?

Я заматаю головой.

— Нет, конечно. Не знал. Ну, то есть сейчас-то я думаю задним умом, что да, вот почёсывалось иногда там и тут, это, наверное, оно и было... но вот честно, не обращал внимания... мало ли чего... поверь...

— И ты... и ты так и ходил... всегда? И не парился?

Я пожал плечами.

Евгений Сологуб

Время нежности

Два рассказа

Мастер-класс

Игнат вынырнул из тягучего сна. На нижней полке, уткнувшись в мамину щёку, спал ребёнок, на соседней, распахнув рот, храпел старик, и в бледных сполохах света то и дело мелькал провал стариковского рта. Игнат дотянулся до бутылки воды, жадно допил что осталось и несколько минут пролежал с закрытыми глазами — чудилось, из самого мозга прорастают плющи и стягивают череп. Затем он осторожно спустился, стараясь не глядеть на старика, и вышел. Крохотная девушка в мешковатом зелёном свитере тут же отпрянула в сторону:

— Боже мой, извините, простите, — пахло перегаром и бальзамом для губ. Девушка схватилась за голову, забирая обеими руками курчавые русые волосы; из-за пышного ворота голова казалась маленькой, мышинной, да и уши топорщились. — Правда, простите, я не хотела, я уходила, я сначала стучала, а потом задумалась, простите...

— Потеряли купе?

— Да-да, то есть нет, я к вам в купе, ну да, в купе к вам, но это глупо, понимаю, я вообще не хотела, но по ночам не сплю... В смысле я ночью сплю хорошо, это в поезде не очень, поэтому обычно в ночных не сплю, то есть меня укачивает, не могу в горизонтальном... и я тогда сижу в ресторане, и сегодня сидела, и, кажется, выпила лишний бокал, нет, бутылочку, ну то есть это совсем крохи, такие маленькие бутылочки на бокал, а одной сидеть не по себе, и как-то холодно, и всё такое снежное вокруг, и холодно, да, а ещё видела вас и вспомнила, видела, как вы так забирались в вагон, хмурились, ну я и пошла, думаю, а вдруг не спит, вот и узнаю, раз так сложилось, да, вот так сложилось... — Девушка завела руки за спину.

Сологуб Евгений Андреевич родился в Петрозаводске в 1990 году, окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Печатался в журналах «Звезда», «Новый мир» и других. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 1.

— Мы знакомы?

— Да, но нет-нет, сложно назвать это знакомством. Извините, я лучше пойду. Глупо, боже, ну глупо получилось.

Игнат вглядывался в тусклые, покрасневшие глаза, в сухие губы, тронутые тёмно-рубиновой полосой.

— Извините, я не помню.

— Конечно, конечно. —

Девушка сложила ладошки — на подушечке указательного пятнышко краски. Игната смущало, как это выглядит со стороны: угрюмый, дюжий мужик, нависший над хрупкой девушкой. Следом пришла и другая мысль, грязная, попутная — и он представил сцепление тел, пот, хмельное бурчание, похабщина, льющаяся через край, ощущения, но не картинка, нет, не может быть. И не в его вкусе. Игнат ощутил, как взмокли подмышки, почувствовал подлый запах тела. Она могла помнить, чего не помнил он.

— Да не берите в голову. Это всё вино, оно общительнее, а так бы я и не сунулась, не стала, простите, боже, ну глупо, извините.

Виновато улыбаясь, она, наконец, скрылась в дальнем купе.

Игнат порывисто ополоснул лицо, но вода казалась недостаточно холодной, тогда он раскрыл фрамугу и высунул голову в стылый поток.

— А башку столбом снесёт — мне потом это расхлёбывать?

В дверях туалета, сунув руки в карманы сизого кителя, стояла низкая проводница с перекрашенными глазами.

— Жарко, — виновато улыбнулся Игнат. — Извините.

— И закрываться надо. Извиняет он. А если вы, это, другое что и не из окна бы высывали...

Игнат не спешил в купе. Ссутулившись, наблюдал, как иссиня-белый пейзаж просачивался сквозь лицо, вспыхивал огнями, растворялся, таял, порождая слова, даже голос: «Вот как ты так жил, дальше своего носа не видел, говно такое, а тут опомнился? Раньше надо было думать и разговаривать раньше...» *Было — было — было* — бухало в голове, вторя повизгивающему стуку колёс. Пролетел перрон, переезд с одинокой машиной, снова перрон, дома, лес. Сплошной лес в снежных помехах. Пальцы танцевали на поручне, сердце колотилось, голос настырно лез и лез: «Нет никаких нас!»

Тогда и он постучал.

Стоя в дверях в такой же, как и свитер, растянутой футболке, девушка щурилась, стопы в махровых носках лезли одна на другую.

— Я, конечно, ничего не вспомнил, но подумал, раз вы спать не можете, и я тоже не засну, мы могли бы и поговорить.

— Только я вина больше не хочу.

— Я тоже. Я вообще вино не пью. Но можно чаю.

— Да, чаю можно.

— Вы наденьте что-нибудь, а то мокро, пока дойдём.

Ресторан уже пустовал, сутулый официант, парень с рябым лицом, сидя за одним из столов, водил пальцем по стеклу. Несло прогорклым маслом,

зажаренными сосисками. Игнат коснулся костлявого плеча, и парень, не снимая наушников, усадил их за стол.

— Нам чаю, — брезгливо бросил Игнат.

Парень кивнул и поплёлся на кухню.

— Вам неудобно? — спросила девушка.

— Почему? Нет. Вы, может, есть хотите?

— Такая маленькая, что хочется накормить?

— Я не к этому.

— Да, простите, чушь, пошутить хотела.

Снег пошёл крупный, как марки; казалось, напрочь сорвали антенну — и слетели все каналы. Девушка сцепила пальцы: бордовый лак почти сошёл, оголив бледные ногти.

— Возвращаетесь или в гости? — спросил Игнат, ощущая, как злится на паузу и на себя.

— На выставку. В Севкабеле неделя керамики. Еду участвовать и продавать.

— Мастерите, значит?

— Ну да, леплю, вот этими вот руками.

— Я в Севкабель, кстати, в своё время часто захаживал.

— Я знаю.

— Да ну? Откуда?

— Фарфоровый сервиз с голубыми рыбками — помните?

— Быть не может! Это сколько же прошло...

— Года три.

— Три года... Ничего себе! А я вас совсем не помню. И это вы сами его, выходит?

— Выходит. Вы тогда переживали — понравится, не понравится. Я, наверное, переживание ваше больше запомнила. И руки. Всегда руки запоминаю, а ваши огромные вон, но безопасные как будто, то есть я хочу сказать, они такие грозные, но ласковые. Боже, ну не в том смысле. В общем, вы поняли, ну поняли же?

Официант поставил чайник, оставив ржавое пятно на скатерти, и вскользь заметил:

— Минут тридцать ещё.

Игнат тут же принялся разливать чай по чашкам.

— Так понравился? — хитро спросила девушка, убирая волосы под ворот свитера.

— Конечно, понравился!

— Обещали, а отзыв так и не оставили.

Устало-карие глаза улыгнулись над чашкой. Игнат тут же подумал, что и чашка, пожалуй, ей великовата.

— Всегда забываю про эти отзывы. Хотите, сейчас оставлю?

— Да забейте, всё хорошо.

Чай горчил и отдавал бумагой. Отчего-то мутило и мрело в глазах, точно снегопад ворвался и кружил, кружил, сливаясь с бормотанием и нелепыми

запахами ресторана, а потом всё наладилось, голос обрёл плотность, зазвучал естественно:

— С глиной, наверное, удобно работать — она податливая?

— Не скажите, дама с характером, — хихикнула девушка.

— Смешное спросил?

— Да вспомнила, как мама сказала, что я на глину перешла, потому что из мужиков вылепить ничего не вышло.

— Мамы, они всякое говорят. Не стоит и внимание обращать.

— Ой, да я и не обращаю. И вообще-то глина грубостей не любит. Это всегда компромисс: ты одновременно делаешь что хочешь, но без давка, нежно. Это не про манипуляцию, понимаете, это про связь, про нежность, про сотрудничество. Это совсем другое. Как отношения, в общем, понимаете?

— Понимаю, наверное.

— А вы из Питера?

— В какой-то степени да.

— Возвращаетесь, значит?

— По делам, да.

— А приходите на мастер-класс. У нас всю неделю мастер-классы, а стенд прямо по центру будет. Меня Яна зовут, если что.

Игнат пожал холодные пальцы и спрятал глаза: на дне чашки плавали остатки мутного чая.

— Может, и доберусь.

— Любите дорогу? Я вот с самого детства люблю дорогу. Всегда и волнительно, и треморно как-то в дороге, но как едешь, сразу легко — как будто не принадлежишь никому. Не знаю, это, может, инфантильное что-то. Типа разобраться, там, не можешь с собой, вот и едешь, но забавно, что дорога вообще-то на месте стоит. То есть сам путь, прямая-кривая, на месте стоит. Боже, простите, бред...

— Хотите сказать, никуда она не ведёт на самом деле? — сказал Игнат.

— Не знаю. Получается, мы никуда и не едем, а только кажется, что едем.

Полвагона ушло в темноту, парень в накинута на плечи худи стоял в свете дверного проёма. Игнат ощутил, как сердце засуетилось в груди, разок соскочило с ритма.

— Не уверен, что стоит лезть в такие дебри, — улыбнулся он. — Но вижу, отсюда нас *тоже* гонят.

Женщина в купе не спала: укачивала сына, уткнув губы в его сонную макушку. Когда Игнат вошёл, она отвернулась к стенке и затихла. Старик лежал на боку и только подсвистывал носом, тревожно сомкнув рот. Игнат запрыгнул на полку, насколько возможно, подтянул колени к груди и, прикрыв глаза, взгляделся в кружение мыслей, как в снегопад. И вскоре совсем затерялся.

Поезд стоял уже десять минут. В пасмурном свете купе лежали крошки от пряника, позабытый алый носочек и горка постельного белья. Игнат вскочил, наскоро застегнув рубашку, схватил рюкзак и, на ходу набрасывая пуховик,

спрыгнул на перрон. Карман недовольно вибрировал, но ответил Игнат, лишь когда зашёл в вокзал.

- Хочешь всё испортить?
- Да еду я, еду, Вик. Поезд опоздал.
- Почему тебе всегда нужно оправдываться?

Он выбрал в приложении ближайшую машину, весь перепачкался, сбрасывая рукавами сугробы со стёкол, но улыбался.

Старательно накрашенная, с остатками беспокойного сна на лице, в чёрном брючном костюме, Вика оглядела его неряшливый вид и, строго вскинув руку, посмотрела на часы:

- Мы должны были зайти час назад.

Игнат сбросил пуховик на подоконник, кое-как заправил рубашку и, забегая за Викторой в кабинет, уловил сладко-розмариновый отголосок былой нежности. Он не смотрел в бумаги, не искал взгляда, просто поставил подпись там, куда указал высокомерный палец с ухоженным ногтем. На улице лишь хотел обнять напоследок — Вика увернулась:

- Я спешу.
- Один вопрос.
- Ну.

— А где тот сервиз с рыбками, который я тебе подарил? Там такие голубые рыбки минималистичные.

- Я помню. Я его в комиссионку отнесла.
- Зачем?
- Бить жалко было. Всё?

Игнат кивнул и спрятал озябшие руки в карманы.

Слушая, как утихает скрип шагов, он пусто глядел на замороженные бархатцы в белоснежных клумбах. Вдалеке, хохоча, поднялась в воздух утка, и тогда Игнат вспомнил: позабытые и спокойные, в обнимку с лабрадором, они лежали среди лютиков у бурой реки — и такая стояла тишина, что нельзя было не проснуться.

Время и нежность

Они молча смотрели, как догорал одинокий сарай во дворе, и Митя вдруг саданул по столу кулаком так, что вилка на пол сбежала:

— Мне жить всегда было тесно. Да что говорить, ведь я с краю всегда. Хотя меня и привлекают-то лишь те, кто с краю. Мне с ними проще, спокойнее. Ну, с теми, кто всегда малость растерян... Кто по улице идёт, словно душу нашёл, кому жизнь не сестра и не жена...

- А любовница, что ли?
- Работодатель какой-нибудь. С ней всегда договариваться нужно.
- Тогда — *ца*.
- Что — *ца*?

Айгерим Тажи

Ломая берега

* * *

Нам нужно на воздух.
Под весом зимы
спрессовано небо,
раздавлены мы.
В снегах не видна
костяная страна.
Но в долгой картине
тревожного сна
навстречу свободе
по скользкому льду
бежали, как звери,
в родную среду.
И шла по тропинке
пузатая мгла,
глотала кусты,
но догнать не смогла.

* * *

Не забудь её —
девочку с медленными глазами.
Она ходит по видеоряду на старой кассете:
из кадра в кадр,
из комнаты в комнату,
пойманная равнодушным светом,
долетевшим до нас
из забытого прошлого,
возрождая предчувствие нехорошее.

Айгерим Тажи — поэт. Родилась в Казахстане, в г.Актюбинске (ныне Актобе). Автор книг стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004) и «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» (Бруклин, 2019; билингва). Публиковалась в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (2003) и др. Живёт в г. Алматы.

У времени тонкие ленты в косах.
Мир тебе, странница, оставь тот дом,
заколдованный, где ты без спросу
ловишь рыбок аквариумных ладонью,
блуждая в плёночном лабиринте,
где так же людно который год.
Танцуют призраки в киноленте,
разносят съеденные салаты,
пьют воду,
вернувшуюся в круговорот.

* * *

Звезда упала.
Чем бы заменить?
Дрожит в ладонях рвущаяся нить.
Маячит будущее, как воздушный шарик.
Мелькают люди — жизни на бегу.
Вон лодка на далёком берегу.
В ней пассажиры.
Врут, что места мало.

* * *

У желтозубой кукурузы
спросить дорогу — не вернуться.
Забраться внутрь живого моря.

Утопленные в почву руки
растают пальцами-корнями,
находят воду.

У воды
узнать неплохо бы о прошлом,
куда ушли народы. Их
могилы словно растворились.

Вода молчит.
Шуршит в ответ
стареющая кукуруза.

Невдалеке весёлый фермер
выкапывает из земли
гнилое золото. Ведро
сияет тёмным, пахнет смертью.

Играют призрачные дети.
Дерутся взрослые бесшумно.
Старейшины, как привидения,
стыдливо прячутся в тени.

* * *

И у реки, ломая берега,
Кренится тополь,
С ним вороний дом
С затихшими птенцами ждёт итог.

Сидит старуха в выглаженном платье
На камне, бултыхая в ледяном течении
Опухшими ступнями.

Плывут по удивительной реке
Обломки кораблей,
Враги в гробах,
Младенцы в люльках,
Яблоки, венки.

Старуха не желает умирать.
Кричит на смерть, к себе не подпускает,
Цепляется за время что есть сил.
Глаза закрыла. Кажется, попросит
Прощения у тех, кто не простит.

Но отпустило. Вдруг она встаёт,
Разматывая памяти клубок,
Идёт по лабиринту в глубину.

Ревёт река, съедая берега.

Маленьким карандашом

Сергей Тиханов

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ЖИЛМАССИВ

Короткая проза

ИЗ ЦИКЛА «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»

* * *

Однажды, когда он с трудом закрывал входную дверь... Дверь перекосилась, и отец часто свирепо кричал: «Это ты сломал! Ты всё портишь! Ты только гадишь и мямлишь!» Так вот, когда он закрывал эту дверь, ему стало вдруг нестерпимо больно от мысли, что никогда больше в эту дверь не войдут ни любимая женщина, ни друзья. И теперь до конца жизни его будут ждать здесь только хлёсткие жестокие пощёлки и вонища. «Шум и ярость, — подумал он, — теперь только шум и ярость...»

* * *

С утра он чувствовал себя определённо лучше, даже левая рука, казалось, обретает некоторую уверенность. Мать ворвалась к нему в санузел, стала кричать, что он постоянно занимает туалет, не экономит горячую воду, что он атеист, каждый день меняет бельё, дальше крики стали совсем бессвязными, и, наконец, она завела себя так, что плюнула ему в лицо. Но он только смеялся.

ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

Можно было не обращать внимания на то, что всю жизнь идеалом женщины для него оставалась Пеппи Длинныйчулок. Можно было каким-то образом принять то, что он не засыпал без крошечной модели бронетранспортёра в руках. Можно было даже смириться с его любовью к общим тетрадам и песочным пирожным. Но, когда он объявил, что пойдёт в Эрмитаж не иначе как с игрушечной

Тиханов Сергей Юрьевич родился в 1964 году в Новосибирске. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Печатался в журналах и альманахах, в антологиях «Очень короткие тексты» (НЛО, 2000) и «Нестолчная литература» (НЛО, 2001). Автор книги «Страшные сказки» (2020). Живёт в Новосибирске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

обезьянкой Чичичи, это оказалось уже чересчур, сверх всех сил и любого понимания. Игорь Евгеньевич в таких случаях говорит: с той стороны зеркального стекла...

Нужно было срочно приводить его в чувство. Подтянулись все, кто смог. Вовка Добрая Душа кое-как добрался из Парголова, Одуванчик Толстые Щёки выдвинулся с постапокалиптического Канонерского острова, а Жук Кривая Горка ради такого случая — прийти на помощь товарищу — покинул перекрёсток Четырёх дураков. Словом, почти половина палаты буйного отделения Пряжки собралась на Бармалеева.

Его звали Приятель Ветра И Капель. Вероятно, у него когда-то были другие, человеческие, имя и фамилия, и паспорт гражданина, скорее всего, имелся, но очень сомнительно, чтобы он сам помнил, как его звали раньше. И все заглянувшие в бездну, все, кто ещё мог встать на пути тёмной материи, знали его как Приятеля Ветра И Капель. И только так.

Они уселись за стол. Жук Кривая Горка раскрыл блокнот и ещё до того, как разговор начался, остро отточенным карандашом стал делать какие-то пометки на аккадском языке. Одуванчик Толстые Щёки, прикрыв глаза, слегка раскачивался и чуть слышно напевал: «It's just a shot away...»

Приятель Ветра И Капель сразу обратился к Вовке Доброй Душе: «Прежде всего я прошу тебя оставить свои парнасские замашки! Командуй у себя в Шуваловском парке!»

Это были не совсем справедливые претензии, ведь Вовка Добрая Душа ещё не начал проявлять парнасские замашки, когда он мог запросто выбросить кухонный стол в окно, сорвать с цепей и разбить вдребезги вазон с цветами на Невском или разгромить отдел настольных игр. Более того, он пока и не думал их проявлять, ведь вопрос, ради которого они собрались, был слишком серьёзным: им помстилось, что это не Приятель Ветра И Капель заглядывает в бездну, а сама бездна внимательно его разглядывает.

— И потом, — продолжал Приятель, — когда Хранитель Дат И Событий катался по Эрмитажу на велосипеде, что-то я не припомню, чтобы вы все так же дружно рванули к нему на башню Беринга и устроили там судилище! Но стоило мне с моей Чичичи...

Если бы я говорил о каком-то другом человеке, в этом месте я непременно написал бы «тут голос его предательски задрожал». Но заглянувшие в бездну были не таковы! Они твёрдо знали, что весь мир лежит во зле, что жизнь это катастрофа, поэтому они никуда не спешили, ничего не боялись, и голос у Приятеля Ветра И Капель предательски дрожать не мог, даже когда он говорил об игрушечной обезьянке Чичичи.

— Во-первых, не на велосипеде, а на самокате, — терпеливо пояснил Вовка Добрая Душа, — во-вторых, не сам Хранитель Дат И Событий, а его внучка. И в третьих, не по Эрмитажу, а всего лишь по гардеробу в цокольном этаже, в сам Эрмитаж их с самокатом не пропустили. А жаль, — добавил он сочувственно.

ИЗ ЦИКЛА «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ЖИЛМАССИВ»

Шествие князей

И да, в этих троллейбусах невозможно было отыскать хоть какое-то подобие логики. Если они, несмотря на стремительный спринтерский бросок, всё же не успевали на отходящий тринадцатый, то следующий мог прийти через три минуты полупустой. Но мог прийти очень нескоро, да ещё и заполненный под завязку. А в редких случаях он вовсе не приходил.

Они ничего не говорили, ведь всё было решено: на этом месте нужно расставаться, и что-то изменить они не могли, как бы отчаянно им этого ни хотелось. Поэтому они только молча держались за руки, согревая друг друга. Иногда, если день выдавался не слишком тяжёлым, Маленькая Разбойница напевала чуть слышно «Шествие князей» из оперы-балета «Млада», а Синичкин внимательно прислушивался. Что же звучало в его голове? Шёпоты и крики, как обычно, сумбур вместо музыки.

Однажды, когда Маленькая Разбойница уже уехала, он вспомнил, как спускался с Мишей на эскалаторе на станцию метро «Пушкинская», как Миша захохотал и рассказал, что недавно напугал Игоря Евгеньевича. Долго да и неинтересно сейчас пересказывать эту давнюю историю, суть там была в том, что Миша сказал Игорю Евгеньевичу: «А что ты хочешь, Игорь Евгеньевич? Нет реальности!» И тогда Синичкин обрадовался и громко закричал: «Ура! Нет реальности!» И Миша тоже закричал: «Нет реальности!» А жители Города на берегах Невы возмущённо отворачивались, всем своим видом показывая, что никакого отношения к этому безобразию не имеют. И так они долго кричали, пока ехали на эскалаторе, и ещё на перроне покричали, пока не подошёл поезд.

Реальности в этих троллейбусах тоже никакой не наблюдалось.

Сутки через двое

Синичкин никогда ничего не понимал в семиотике и поэтому начал издалека и не совсем удачно: «Сохрани мою речь навсегда! — почти выкрикнул он. Но сразу же выправился и продолжал: — Я могу легко и свободно двигаться,

чётко и правдоподобно артикулировать только рядом с Вами, только слыша Ваш смех и, желательно, держа Вас за руку, вот как сейчас. — Тут он прижался лицом к её бежевым варежкам с красным эвенкийским орнаментом и распаялся дальше: — Я вообще могу дышать, могу жить только пока я с Вами! И пусть это происходит не часто, пусть это случается... сутки через двое!»

Эта полувоенная формула никак не подходила к его теперешнему жалкому положению, она всплыла вдруг из его прошлой сиротливой и бесприютной жизни, она пахла оружейным маслом, крошками табака и чаем, только что заваренным в пол-литровой банке. Но Маленькая Разбойница его прекрасно поняла.

Жизнь на Юпитере

Они прошли Собачью площадку, чаще всего именно на этом месте троллейбус показывал им свой хвост, но в тот раз троллейбуса на горизонте не оказалось. Продолжался период вечерней видимости Юпитера, уверенно двигавшегося по созвездию Тельца. Каждый вечер они собирались его посмотреть, но как нарочно сильная облачность не давала это сделать.

— Может быть, сегодня вы покажете мне Юпитер? — спросила Маленькая Разбойница.

— Так вот же он, — ответил Синичкин, — только его совсем плохо видно, мгла ещё окончательно не развеялась, а на самом деле он такой... знаете... вот такой... — он стал изображать ладонями, какой Юпитер на самом деле.

— Жирный? — подсказала она.

— Ну да, — с готовностью согласился он и чуть было не начал рассказывать о своей жизни на Юпитере, но вовремя остановился, предположив, что Маленькая Разбойница перестанет подозревать, что у него не всё в порядке с головой, а полностью и окончательно в этом удостоверится. Но мог бы и рассказать совершенно спокойно! Ведь она всё давно прекрасно знала: ну кто ещё может говорить о таких вещах и делать такое, о чём нормальные люди в своей скучной обыденной жизни даже не подозревают.

— Сумасшедший, — с восхищением думала Маленькая Разбойница.

А на Венере Синичкин прожил совсем недолго, поэтому рассказывать было особо не о чем.

Переводы с языков народов России

«Своего народа собираю рать»

Перед вами новые переводы стихотворений современных авторов — шорских, тувинских и татарского поэтов. Переводы подготовлены поэтами Максимом Амелиным, Ириной Ермаковой, Алёной Каримовой, Юрием Татаренко и Михаилом Липкиным в ходе работы над антологией «Поэзия и проза тюркских и монгольских народов», которая готовится к выходу в свет «Объединённым гуманитарным издательством» (О.Г.И.).

Геннадий Косточаков

* * *

Знать, судьба моя такова:
Свой язык пропавший хочу сыскать,
Жду, когда родные слова
Станут гордо произносить опять.
Знать, судьба моя такова.

Знать, судьба моя такова:
Материнской речью, хоть и не мать,
Я учу, пока та жива,
Не стыдись говорить и понимать.
Знать, судьба моя такова:

Знать, судьба моя такова:
Своего народа собираю рать,
Чтоб узнать, верна ли молва,
Что живому незачем умирать!
Знать, судьба моя такова.

Косточаков Геннадий Васильевич — шорский поэт, прозаик, переводчик, фольклорист. Родился в 1959 году в г.Междуреченске Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный университет, аспирантуру в Казанском государственном университете. Кандидат филологических наук, тюрколог. Автор трёх книг стихов. Живёт в г. Новокузнецке.

Амелин Максим Альбертович — поэт, переводчик, эссеист, издатель. Родился в 1970 году в г. Курске. Учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Автор нескольких книг стихов и эссе. Главный редактор издательства «О.Г.И». Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

* * *

Я последний шорский поэт!
Опадёт по осени хвоя,
Летом вьюга заснежит след,
Нам отходную песнь провоя...

Порастут кладбища густым
Тёмным лесом, где предков кости,
С поминаньем на шорском к ним
Залетит лишь кукушка в гости.

Эта вьюга изменит нас:
Дочь, отца не узнав родного,
Наш уклад и бабушкин сказ
Осмеёт, не поняв ни слова.

Ветр, мой вещий развея завет!
Нам пути возвратного нет!
Наш язык возродить — нет силы!

Ледяного ветра порыв,
Рвущий связь поколений, дунет:
Молодёжь, язык позабыв,
На обычаи шорцев плюнет.

Я последний шорский поэт,
Оттого все песни унылы,
Я пою — на краю могилы.
Ветр, мой вещий развея завет!

* * *

Айна среди нас.

Из песни

Говорят: жестоко мучим
Я судьбою был всегда
И прожил в лесу дремучем
Глупо лучшие года.

Свёл с любимой ненадолго
И увлёк навеки прочь.

Вслед за счастьем неслучайно
Гнался я, но был гоним.
Наигрался злющий айна¹
Сердцем досыта моим.

Всюду гнал меня под небом
И безжалостно бивал.
Где я, бедный, только не был —
Лишь в покое не бывал.

Одурачил, сбивши с толка,
Мчал и мыкал день и ночь.

Вот, родная, издалечка
Я вернулся, наг и бос,
И влюблённое сердечко
Как на блюдечке принёс.

* * *

Обрати хоть куда ты свой взор кругом —
Непреложен в мире Природы закон.
Не бывать ему впредь в естестве другом,
Только Бог переделать бы мог — лишь Он.

Но рождается всё-таки каждый день
Человек, недовольство сея в других:
«Этот мир — неизменная дребедень,
Я пришёл, чтобы в нём изменить всё вмиг».

Переводы с шорского Максима Амелина

¹ Айна — чёрт, бес.

Любовь Арбачакова

* * *

Мустаг-гора — священная наша гора!
Здесь горные духи живут и хранят нас веками.
Сюда, на вершину шаманам подняться пора —
Взошли, обращаются к Богу и духам над нами.
Гора пусть спокойно стоит, пусть народ мой — алып
Шачыги священные празднует и процветает, —
Великий шаман на вершине Мустага камлает.

* * *

Вспоминая бывшее село, жалею,
Покойную маму мою жалею,
Улетающих птиц провожая, жалею,
Цветом весенним любуюсь, жалею,
Злые слова обронив, жалею,
Чёрные мысли лелея, жалею...
Че, этой жизнью живя, не жалею!

* * *

Шаман так неистово камлает,
Душу мою излечить пытаюсь...
А в красном углу его дома лучится
Печаль Богородицы из божницы.

* * *

День рожденья мой — в мае, месяце красоты.
По-шорски — кандыкам в это время цвести.
По-русски — маяться мне предстояло немало.
Че, в этой жизни моей хоть и были цветы.
скверное тоже в ней, знаешь, бывало.

Арбачакова Любовь Никитовна — шорская поэтесса, прозаик, художник. Родилась в 1963 году в селе Анзас Таштагольского района Кемеровской области. Окончила шорское отделение Новокузнецкого государственного педагогического института. Кандидат филологических наук; старший научный сотрудник в Институте филологии СО РАН. Автор трёх поэтических сборников. Живёт в г. Междуреченске.

Ермакова Ирина Александровна — поэт, переводчик. Родилась в 1951 году. Окончила Московский институт инженеров транспорта. Автор нескольких книг стихов, среди них «Медное зеркало» (М., 2023). Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

* * *

Я поэт и художник,
Почти взнуздала облако-коня!
Пусть на земле этой кто-то
Крепко за повод держит меня.

Переводы с шорского Ирины Ермаковой

Сулейман

Булгар. О вечном и бренном

Весь мир — владенья синей тишины,
Здесь бренность с вечностью живут бок о бок, вместе...
Взойдёт, как тайна, одинокая звезда,
Ей улыбнётся с минарета полумесяц.

* * *

Возьмись за кисть — от этой красоты
Способна кровь кипеть у живописца!
Природа проскользнёт в лазейки глаз,
И разум ей готов уж подчиниться.
Мне кажется, я знаю: Пикассо
Накрыло бурных чувств девятым валом,
И обезумев от живых красот,
Осколками лицо разрисовал он.
А гениальный Сальвадор Дали
В сюрреализме скрылся от природы,
Он до того дошел, что отказался
От красоты её, её свободы.

Сулейманов Джавдет Шевкетович — татарский поэт. Родился в 1955 году в деревне Кзыл Чишма Батыревского р-на Чувашской АССР. Окончил мехмат КГУ. Доктор технических наук, профессор, академик-секретарь Академии наук Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан. Автор более 20 книг стихов и поэм. Лауреат Республиканской литературной премии им. М.Джалиля и премии им. Г.Исхаки. Награждён медалью «В память 1000-летия Казани» (2005). Живёт в Казани.

Алёна Каримова (Каримова Алия Каюмовна) — поэт, переводчик, редактор. Родилась в 1976 году в Киргизии. Окончила физический факультет Казанского государственного университета и Высшие литературные курсы. Автор нескольких книг стихов. Многочисленные публикации переводов с языков народов России, в том числе для детей. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Казани.

Творенья их мне трудно понимать,
Но состоянье их вполне понятно, —
Единственный Художник, кто на холст
Вместить способен космос необъятный...
Аллах Всевышний!

Влюблённые феи

Днём — подсолнухи, ночью, наверно, подлунники будут...
Лишь склонятся друг к другу коронами — брезжит восход,
А пригнутся к земле — так закат закипит-заалеет...
Это значит — в природе любовь совершает свой круговорот!

Переводы с татарского Алёны Каримовой

Алексей Бегзин-оол

*1. Дылдый-Хоок**

Качала мама колыбель, а надо мной
Крюк, изукрашенный архара головой — дылдый-хоок!

«В седле держись, не упали, смотри, с коня», —
Так на колене мой отец качал меня — дылдый-хоок!

Стучат-звонят копытца яка по горам,
А я не отстаю, где он — я тоже там — дылдый-хоок!

Бегзин-оол Алексей Сарыгларович (1949—2015) — тувинский поэт, прозаик, журналист. Родился в 1949 году в местечке Хонделен Барьын-Хемчикского района Тувинской автономной области. Автор нескольких сборников прозы и поэзии, среди них сборник избранных стихов «Три вершины испытаний», изданный в 2009 году. Создал свой особый, «бегзин-ооловский» мир в тувинской литературе, который обживают и расширяют его последователи.

Липкин Михаил Михайлович — переводчик. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, колледж иудаики и Московский институт повышения квалификации работников образования. Помимо иврита и арабского языков, владеет английским, итальянским, французским, амхарским и армянским языками. Переводит поэзию народов России. Живёт в Москве.

* Дылдый-хоок, Бооп-бооп — магические восклицания для поощрения маленьких детей.

Осталось детство в том ущелье навсегда,
Птенцы, подросши, улетают из гнезда — дылдый-хоок!

В пещере тайной символ рода моего —
Клеочет коршун, и мне слышен зов его — дылдый-хоок!

Но сын Эгея, чьих птенцов хорош полёт,
Ласкает внуков, песню гордую поёт — дылдый-хоок!

2. Бооп-бооп

Был первый шаг мой совершён в юрте родной.
Белый ширтек степью большой был подо мной — бооп-бооп.

Мама красива была ещё и молода,
«Мало прошёл» — мама, смеясь, пела тогда — бооп-бооп.

Если упал, не плачь — любил отец повторять, —
Есть у земли, есть у родной сила поднять — бооп-бооп.

Девять дорог, вместе сойдясь, изнурят тебя.
Дивный Небесный Отец тебя охранит, любя, — бооп-бооп.

Душу злая тоска изгрызёт и сожрёт вот-вот —
Девушка милая душу спасёт, счастье вернёт — бооп-бооп.

Быстро проносится жизнь, коротка, как пядь,
Бережно белая карма матери будет оберегать — бооп-бооп.

Один за другим, вот и внук встал и пошёл,
Иди, а время придёт — истреплется детский подол — бооп-бооп.

Эх, я скажу тебе: опора твоя на земле —
Эгея сын, твой отец, что всегда держался в седле, — бооп-бооп.

Переводы с тувинского Михаила Липкина

Николай Куулар

Перерождение

Окружают меня миражи,
Отголоски бывшего восторга.
Нет полсердца, но вроде бы жив,
Унесённый воздушным потоком.

Приземлюсь на зелёном лугу,
Чернозём мне набьётся под кожу...
Краски неба сольются в дугу,
В них меня не узнают — так что же...

Свободен стих!

Свободен стих! С невиданною силой
Пробьёт, как факел, темноту столетий.
И поплывут слова над облаками,
И восхитится отрок пробуждением
Немого сердца,
Которое прочувствует свободу.
И вот уже пронзительное слово
В подлунном мире заново родится.
И новые разбудит поколения,
И тысячи пойдут на зов его.

Свободен стих! И нет конца полёту,
Идёт волна строки — от сердца к сердцу,
Чтоб вдохновить на творчество весь мир.
Да будет так меж небом и землёю.

Куулар Николай Шагдыр-Оолович — тувинский поэт, прозаик, переводчик. Народный писатель РТ. Родился в 1958 году в селе Торгалыг Овюрского района Республики Тува. Окончил факультет автоматки и электромеханики Томского политехнического института, Литературный институт им. А.М.Горького. Работает главным редактором Тувинского книжного издательства. Автор нескольких поэтических сборников, книги рассказов и повестей и книги сказок для детей. Перевел на тувинский язык сборник «Жизнь Будды», «Буддийскую практику» 14-го Далай-Ламы, Новый Завет, Ветхий Завет; поэзию и прозу классиков русской и мировой литературы. Живёт в г. Кызыл.

Татаренко Юрий Анатольевич — поэт, переводчик, журналист. Родился в 1973 году в г.Новосибирске. Автор четырёх книг стихов. Живёт в г. Новосибирске.

Свободен стих! В его поток бездонный
Бесстрашно с головою погружаюсь.
Я — повелитель времени, пространства,
Я вдохновлён энергией верлибра,
Что жив без объяснения причин.
Свободен стих — ура! Верлибру — верить!

Стариковские думы

Зелёный цвет непросто обнаружить,
Когда в саду черёмуха цветёт...
И лунный свет отбеливает души
У всех, кто ощущает свой уход.

Когда-то здесь со мною ты несмело
Присела на короткую скамью...
Под этим летним снегом вкусно-белым
Ищу тебя — и молодость мою.

Переводы с тувинского Юрия Татаренко

Ирина Богатырёва

На Луне шёл снег

Рассказ

— Зайка! Зай-ка!

Волков безутешно рыдал. Он проснулся уже в самолёте. Мама только что сняла с него куртку и шапку, усадила к окну, — и тут он открыл глаза и понял, что всё пропустил. И аэропорт. И кафе в аэропорту. И посадку. И автобус до самолёта. И даже с папой не попрощался, так что не узнал, проводил ли он их, как обещал, до самых дверей, или уехал раньше, как уговаривала мама, — короче, он пропустил всё, всё, всё.

Но главное, с ним не было зайки. Белого, нежного, мягкого зайки, с которым так приятно обняться, когда засыпаешь, который пахнет домом и немного маминым кремом — Волков сам смазал ему этим кремом нос.

Теперь зайца не было.

Самолёт готовился взлететь.

Уже постояла в проходе, что-то объясняя, стюардесса. Уже прошла, проверяя, все ли пристегнулись. Уже вырулили на взлётную полосу. А Волков всё рыдал, и мама не могла его успокоить.

— Женщина, да уймите ребёнка, наконец! — какая-то тётка обернулась с переднего кресла. — И так голова трещит!

— Он устал, вы разве не понимаете? — Мама испуганно посмотрела на неё.

— Все устали! — рявкнул дядька у прохода. — Ночной рейс вообще-то. Думать надо было, когда билеты брала.

— Правильно. Не можете лететь, оставайтесь дома, — добавила тётка.

— Видишь, мы всем мешаем. — Мама зашептала, склонившись к самому лицу: — Успокойся уже, пожалуйста, ты слышишь меня!

Но Волков ничего не хотел слушать.

Богатырёва Ирина Сергеевна — писатель, фольклорист, музыкант. Родилась в Казани в 1982 году. Играет на варгане в ансамбле «Тихий омутъ». Автор девяти книг прозы. Печаталась в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Урал» и других. Лауреат и финалист нескольких литературных премий, в т.ч. «Студенческий Букер», «Книгуру» и премии им.С.Михалкова по литературе для подростков. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 2.

- Зай-ка! — Он икал и заикался от слёз. — Где! Мой! Зай!..
- Ты его, наверное, дома оставил.
- Неправда! Он был!
- Тогда его папа увёз.
- Папа? А он к нам приедет?
- Когда-нибудь приедет.
- Когда?
- Когда захочет, тогда и приедет. Мы теперь с бабушкой будем жить, я же тебе говорила.
- А он? Один?
- Не знаю. Может, и один.
- Один?! Нет, он не может один! Звони папе!
- Да как я ему позвоню? Мы уже в самолёте. Лучше вон в окошко смотри, сейчас полетим. Ты же хотел смотреть в окошко. Серёжа!
- Я не Серёжа! — взвизгнул он с новой силой. — Я Волков!
- Господи, это ещё почему? — опешила мама. — В смысле, ты, конечно, Волков. Но ведь ещё и Серёжа.
- Нет, я Волков, Волков, Волков! Как папа!..
- В этот момент в салоне погас свет, и Волков сразу осёкся.
- Это что? — спросил хрипло. От слёз голос осип.
- Взлетаем, я же говорю. — Мама без сил откинулась в кресле. — Всё. Смотри в окошко давай.
- Темнота наполнилась гулом двигателей. Салон завибрировал. Волков припал к холодному стеклу иллюминатора. Снаружи была ночь и далёкие огоньки, не разобрать: город или аэропорт. Огни задрожали и побежали, они бежали всё быстрее, а самолёт гудел всё громче и натужнее. Потом напрягся, толкнулся — и полетел. Тёмная земля поплыла вниз. Огоньки стали уменьшаться и растеклись под брюхом у самолёта, как цветная, переливающаяся лужа. У Волкова захватило дух, а самолёт вдруг заложил вираж, огоньки ухнули куда-то вниз, в иллюминаторе стало пусто...
- ...А потом появились звёзды.
- Они плыли над ними, как будто бы там, наверху, был ещё один город, или аэропорт, и непонятные, дальние они...
- Но скоро и они кончились, и стало просто темно. Темнота казалась мокрой, плотной, и только что-то взблёскивало и помигивало сбоку. Волков смотрел во все глаза, но не различал ничего, кроме своего отражения. Он почувствовал, что ему неуютно, вспомнил про зайку и снова принялся поскуливать.
- Сейчас вынырнем из облака, и будет Луна, — сказал сзади чей-то голос.
- Волков изогнулся, попробовал заглянуть за спинку кресла, но не смог, он был пристёгнут. Он даже не понял, с ним ли говорят, но спросил:
- И что?
- Ничего. Холодно там. Снега по колено.
- Где? — удивился Волков.
- На Луне, — спокойно ответил голос. — А ты думаешь, почему она белая?

Волков обернулся на маму, может, она знает, кто там сзади говорит. Но мама как замерла с закрытыми глазами, так и сидела не двигаясь, даже непонятно, спит — не спит. Волков попробовал отстегнуться, но не смог. Снова прилип к стеклу и сказал хмуро:

— Неправда. На Луне снега нет.

— А ты там был? — резонно спросили сзади.

— Не был, — сказал Волков, подумав.

— Ну вот. А говоришь.

— А ты?

— Я-то? Я знаю.

— И что там?

— Где?

— На Луне.

— Ничего. Только снег. И заяц.

— Заяц? — Волков чуть из ремня не выкрутился. — Не может быть!

— А ты давно на Луну смотрел? Ты погляди получше. Его же видно.

И следов полно. На снегу следы хорошо заметны.

— Чьи?

— Заячьи.

— А как он туда попал?

— О, это давняя история, — протянул голос. Волков только приготовился ныть — обычно взрослые так говорят, чтобы ничего не рассказывать, — но голос уже продолжил: — Как-то раз к одному зайцу пришёл... ну, скажем, — волшебник.

— Добрый?

— Можно сказать так. Он желания выполняет.

— Как Дед Мороз?

— Да, пожалуй. Так вот, он пришёл к зайцу в гости, а у того дома ничего нет. Даже угостить нечем.

— Совсем ничего? А морковка?

— Совсем ничего, даже морковки. Зима была как сейчас. Ну что делать? Заяц туда-сюда. Пусто. А угощать надо. Тогда он предложил этому волшебнику съесть его самого.

— Заяца?! — Волков подумал, что ослышался. Самолёт гудел, и слова долетали плохо.

— Ну да. Но ты не бойся: волшебник отказался. А за то, что заяц такой добрый и щедрый, он ему подарил бессмертие. И отправил жить на Луну.

— Одного? — спросил Волков.

— Одного.

— Зачем?

— Чтобы его там никто не съел.

— И что же он там делает, один?

— Купается в снегу. Там сугробы такие, знаешь...

Но какие там сугробы, Волков не услышал: вдруг самолёт стало болтать, как будто кто-то положил его между ладонями и принялся трясти. На потолке

что-то пискнуло, и зажглись красные лампочки. Волков обернулся на маму, но она не реагировала. Он хотел оглянуться назад, но снова не смог. За окном было по-прежнему темно и сыро. Волков почувствовал, что ему уже почти страшно. Закрыв глаза и стал ждать, когда всё кончится. Скоро перестанет, говорил он себе. Так бывает. Потрясёт — и перестанет. Вот и мама не волнуется. Скоро пройдёт...

Когда он открыл глаза, было тихо-тихо. Мама спала, голова у неё сползла к плечу. Спал и вредный дядька у прохода. Спала и тётенька впереди, было видно её спящий затылок между креслами.

Волков обернулся к окну и увидел большую полную Луну. Она висела в абсолютно чёрном, словно вычищенном небе, и самолёт как будто застыл напротив неё. Это было так красиво, что Волков боялся моргнуть. Он смотрел на Луну и пытался увидеть там снег и зайца. Или хотя бы заячьи следы. Но Луна была слишком далеко, ничего разглядеть не удавалось.

С металлическим шелчком Волков разомкнул ремень и соскользнул с кресла. Осторожно, чтобы никого не разбудить, прополз мимо мамы и дядьки в проход. Вокруг все спали. Целый салон спал. Люди лежали, откинувшись, положив головы на столики перед собой, дети спали на коленях у взрослых, взрослые склонили головы на плечи соседей или на надувные подушки. Никто не видел, как самолёт подлетел к Луне, как мягко сел прямо в снег. Никто не слышал, как распахнулись двери и выпал надувной трап. Никто не заметил, как Волков скатился по нему, как по горке, — и ухнул с головой в сугроб.

Но тут же выкарабкался и огляделся.

На Луне шёл снег.

Он шёл мягко, ровно, в абсолютном безветрии. Было холодно, дыхание вышло облачком и повисло возле лица. Снег сиял, и было удивительно тихо. Волков никогда не слышал такой тишины.

И было пусто. До самого горизонта, насколько хватало глаз, ни движения, ни дерева, ни кустика. Не было даже следов на ровном, свежем снегу.

— Зайка, — позвал Волков тихо. Почему-то ему было боязно кричать. — Ты где?

Конечно, он не услышит. Купается где-то в сугробе и не слышит. Волков почувствовал, что замерзает, и пожалел, что мама сняла с него тёплую одежду. Нос щипало. Отходить от самолёта не хотелось. Но он всё же сделал шаг. Потом ещё. Снег хрустел. Волков открыл рот и поймал на язык снежинку. Снег как снег, хоть и на Луне.

— Зайка! — позвал он смелее.

Луна лежала перед ним пустая и холодная. Волков представил, как же грустно тут жить совсем одному. Пусть даже у тебя есть вся эта светящаяся, снежная Луна.

Самолёт за спиной заурчал. Пора было возвращаться. Волков пошёл назад, к трапу, стараясь наступать в собственные следы. Но обернулся и позвал в последний раз:

— Зайка! Пойдём со мной!

Ему показалось, что какая-то тень мелькнула вдали.

Самолёт урчал всё громче.

Не успеет, понял Волков. Он хотел заплакать. Но не стал.

— Смотри, смотри! Какая красота!

Мама склонилась через плечо к иллюминатору и прижала телефон к стеклу.

Она фотала Луну, которая уже отдалилась и висела возле самого хвоста.

— Ничего хорошего. Холодно там, снега по колено, — буркнул Волков. Он ещё не до конца проснулся, голос был хриплый и не слушался. — И он совсем один.

— Кто?

— Зайка.

Мама посмотрела на него странными глазами. Она так смотрела, когда Волков заболел. Потом заулыбалась и попыталась обнять. Волков увернулся.

— Маленький мой. Ну, купим мы тебе другого зайчика, не переживай.

— Я не маленький. Я большой.

— Да, и не Серёжа, а Волков. Я помню.

— Дай сюда. — Волков отобрал телефон, прижал его к иллюминатору и поставил камеру на максимальное приближение. Стал фотать сам. — А что такое бессмертие? — спросил, не отвлекаясь.

— Ты откуда это взял? — Он не ответил, и мама сказала: — Это когда живёшь и не умираешь. Вечно.

— Ясно, — сказал он мрачно.

— Что тебе ясно? — засмеялась мама.

Волков не ответил. Он открыл снимок. Луна, конечно, размазалась, но что-то можно было различить — какие-то пятна. Как мог, приблизил картинку и стал водить пальцем, изучая сантиметр за сантиметром. Рассматривал внимательно, чтобы ничего не пропустить.

— Ты что-то ищешь? — спросила мама.

— Следы, — буркнул Волков.

— Чьи?

— Заячьи. — И вывернулся из-под руки, когда она снова попыталась его погладить.

Пусть думает, что он ищет следы. Он-то понимает, что их не разглядеть, слишком далеко.

Но вдруг он всё-таки прибежал. Стоит сейчас там и машет лапкой.

Один.

А они уже улетели.

София Лебедева

Череди потерь

Рассказы

Белый день календаря

Мама говорит, что я странный ребёнок. Потому что слишком живо реагирую на стихи. Мне читают «Девочку чумазую» — я рыдаю: «Жа-а-а-алко». Мне читают «Жил на свете старичок маленького роста...» — я хохочу так, что мама боится, как бы я не задохнулась. На фотографиях я всегда получаюсь грустной, и кто-то из родственников вечно пляшет передо мной с камерой, чтобы заставить улыбнуться, но я не поддаюсь.

Иногда я запутываюсь в том, что произошло на самом деле, а что — в книжке, которую мне читали. Я сама придумываю истории, но не записываю, потому что не умею писать. Мама часто повторяет слово *странная*, и я думаю, что так называют тех, кого любят. Это длится *мой мифологический возраст* — всё, что сказано словами, прорастает в мою реальность и становится ею.

Как назло, в нашей семье есть присказка, что-то про детей кочевых народов севера — мол, там закон простой: если ребёнок по пути упал с нарт, за ним не возвращаются. Мама как-то складно это говорит, но я не могу запомнить. Зато когда она везёт меня на санках в поликлинику или детский сад, — полозья скрежешут по асфальтовым залысынам, у меня от этого сводит живот, а лицо моё искусано пургой — я мёрзну не от погодного минуса, а от мыслей об одиноком ребёнке-кочевнике в его белой пустыне.

Удивительно, что череда потерь всегда начинается в детстве. Первой я теряю красную собаку на синих колёсиках, которую всюду таскала за собой. Её уводят дети соседей по общежитию. Я много раз потом вижу их — наглых, весёлых, — и меня душит не обида, а вина — за то, что оказалась плохой хозяйкой. Я знаю, что они совсем не умеют заботиться о пластмассовых собаках. Но, выходит, и я не умею.

Лебедева София Сергеевна родилась в 1991 году в Архангельске. Окончила бакалавриат филологического факультета РГПУ им.А.И.Герцена, магистратуру филологического факультета СПбГУ. Работает преподавателем русского языка и литературы. Ранее не публиковалась. Живёт в Санкт-Петербурге.

Пропажа Тоши далась бы проще, если бы я не знала вора в лицо. С тех пор я живу с первой настоящей болью, которую некуда деть.

На Новый год мне дарят куклу — с резиновой головой и мягким телом. Я тут же говорю, что её зовут Зина, и бабушка ругается, что я выбрала *колхозное* имя. Я обнимаю Зину даже во сне, я не помню, как уснула, — мне кажется, что я лежу головой к балкону и ногами к книжному шкафу. Я открываю глаза — комната переворачивается. Оказывается, я лежала наоборот.

Первое января — самый белый день календаря. Я запоминаю его не как время, а как пространство.

Взрослые ещё спят, мы с Зиной садимся у окна и смотрим на пустой двор. Там, снаружи, очень-очень холодно. Рамы трещат. Если приложить палец к щели, чувствуешь, какой там зубастый ветер. Повезло, что платье у Зины вязаное. Если бы она потерялась в снежной пустыне, я бы обязательно за ней вернулась. Я это знаю, и мне хорошо.

Спустя тридцать зим я возвращаюсь из женской консультации и думаю: только бы не поскользнуться. Вдруг целый сугроб ветром смахивает с ветки, и он плюхается мне на голову. Вместо крика из меня вылетает облачко. Я вижу белую пустыню. Мальчика, который тянет за собой на верёвочке красную собаку. Ему уже четыре. За мальчиковыми следами по снегу тянутся две бороздки от синих колёс.

Я трясусь головой — как искусственный, снег осыпается с шапки на плечи. Он мягкий и лёгкий, а я — *весомая*, горячая под пуховиком. Мне совсем не больно. «Ф-ф-ф-ф», — я выдыхаю ещё одно облако, оно расходится медленно, нехотя, — и я вижу свой дом на перекрестье заметённых дорожек, и иду дальше, смачно поцелованная Богом прямо в макушку.

Нимфея

Это было в лето девятое нашей школьной жизни.

Пришлось громоздиться на багажник велосипеда, хотя мой рост и чувство собственного достоинства были явными аргументами против.

— Если мы начнём падать, я просто поставлю ногу. Не бойся, залезай уже, поехали.

Мы читали (не написанный ещё в то время) рассказ Осокина «Орден кубышки». А *мой человек* взахлёб читал Сашу Соколова. Когда *мой человек* сидел по нос в воде и, ртом выдувая воздух, пускал пузыри по зеленоватой поверхности озера, я указала (указал, указали) пальцем туда, где за сочной осокой прятались белые водяные цветы. На белых плотных лепестках проступали еле заметные синеватые жилки (вообще-то, конечно, нельзя увидеть никаких жилок с такого расстояния, да я и не знаю толком, были ли они на самом деле, но мне так хотелось думать, что были, потому что цвет этих лепестков в моём сознании как-то волшебным образом совпадал с цветом кожи царских особ, в жилах которых, как говорят, течёт голубая кровь); каждый цветок расположил свою белую голову на распластанной зелёной пелерине. Головы начинали растерянно и неодобрительно покачиваться из стороны

в сторону каждый раз, когда *мой человек* выпускал под воду очередную струю воздуха.

— Это ведь лилии? Кувшинки же не такие. Кувшинки — кубышки, жёлтые, про которые у Осокина?

— Это нимфеи. Благодаря Саше Соколову в этом можно досконально убедиться.

Так нельзя говорить: досконально убедиться. Но *мой человек* так тогда и сказал.

Человек, способный сказать такое, точно не должен был оказаться в лагере для школьников, проявляющих интерес и склонность к литературе. Это были моё место и моё время. Я готовилась к поступлению на филологический, *мой человек* собирался на химфак. Оказалось, что время и место могут обнять нас обоих. В то лето наша жизнь истончилась — стала такая невесомая, такая звенящая. Она проявилась из тумана, из влажного утреннего воздуха, как на свету проявляется натканная усердным пауком нить. Расположенная между двух тонких стеблей, она неумолимо стягивает их друг к другу, и две неказистые головки безымянных полевых цветов покорно склоняются, поддаваясь этому движению.

Мы были единственными, кому выдали один велосипед на двоих. Остальные ехали каждый на своём, и после любой кочки, палочки, ямки мы слышали — с одинаковыми интервалами — десять одинаковых скрипов, скрежетов, звонов, глухих хлопков (нужное подчеркнуть).

Мой человек читал Сашу Соколова, ловил лягушек и цикад, каждый день опаздывал на занятия, каждый вечер брал меня смотреть на звёзды, а сейчас (тогда) вёз меня на багажнике трепещущего от нашей близости велосипеда.

Двое на одном велосипеде превращаются в некое единое существо, по кривой (потому что мой рост не позволял распрямить ноги, сидя на багажнике, их приходилось подгибать, и это создавало неудачный для движения в горку перевес) ползущее до поворота, перебирающееся на шероховатую галечную дорогу, невольно скашивая часть высокой влажной травы ввиду своей неповоротливости.

Мне думалось о том, что *мой человек* — самые удачные слова для определения любви. Они избавлены от материальности, воплощённости, конкретности чувства. Они разрешают нам быть — не кем-то определённым (и поэтому определённым), а просто быть. Быть самим этим чувством, утрачивая телесность и наслаждаясь утратой, потому что телесность слишком явно сводима к техническим характеристикам, а также имеет начало и конец. Мы же были (есть, будем и опять были) бесконечны. Когда-то каких-то других — взрослых — людей назовут нашими именами, и они пойдут по тем же — нашим — дорожкам; они будут сложными — а мы простые, мы пока тоже очень сложные, а они проще; я могу свободно менять число, род и другие грамматические категории. От перемены грамматических категорий сумма любви не меняется. Это чувство есть в человеке как есть у него правая или левая рука. И вот я протягиваю руку человеку. Или могу протянуть руку еловой лапе, речной воде или ночному мотыльку. У людей есть руки — и мы протягиваем их друг другу, потому что люди разные, а любовь всегда одна, и это значит, что она бесконечна.

Мы узнали о нашей бесконечности после того, как мой человек спросил:

— Какая концепция Вселенной тебе ближе?

(Мы смотрели на звёзды, сидя в поле; был август, август есть, август будет всегда.)

— Я не верю в большой взрыв, но верю в Логос. Я верю, что Космос — это порядок, а язык — это Бог. Я думаю, что звёздное небо — божественный алфавит, которым написано всё, что ты хочешь узнать.

— Я думаю о физических явлениях и химических реакциях той сферы, в которой законы земной физики перестают действовать. Я думаю, что заниматься наукой скучно, если в тебе нет чего-нибудь от поэта.

От поэта у моего человека была тяга к богемным тусовкам.

Мы долго ехали на одном велосипеде. Я думала о том, что подлинная любовь освобождает нас от необходимости мыслить категориями и называть вещи какими-то именами. Она соединяет всё со всем и всех со всеми. Мой человек любил кого-то третьего. И я любила. И всё это было похоже на звенья одной цепи — как та, которая получалась из стебля кубышки в рассказе Осокина. Цепная реакция любви. Любовь движется в мире, как электрический ток по замкнутой цепи. Кто или что является для этой цепи источником?

Если представить, что всё это время, пока мы ехали с моим человеком на одном велосипеде, кто-то наблюдал за нами со спины или, скажем, откуда-то сверху, то этот кто-то запомнил бы из того лета плечи, обгоревшие по форме проймы чёрной майки, и мокрые волосы, закрученные на затылке резинкой.

Мы едем вдвоём, замыкая цепочку из десяти всадников. Иногда я вытягиваю руку, чтобы потрогать пейзаж — обвожу пальцем по контуру, ныряю кистью в глубину, ловлю какую-то часть и тут же отпускаю на волю. Пусть живёт. Пусть будет целым. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда буду я. На занятиях говорили про антитезу *я* и *мы*, про индивидуализм и соборность, про поэта и толпу. Я думаю, что нет такой антитезы — что любое *я* вольно или невольно вписано в *мы*; что когда *я* любит другое *я*, они становятся *мы* не потому, что их двое, а потому, что их — все.

Поддаваясь резкому толчку, велосипедная подножка начинает движение. Как в замедленной съёмке, она разрезает воздух и приближается к земле. Она кажется мне в этот момент сравнимой с шасси самолёта.

«Если мы начнём падать, я просто поставлю ногу. Не бойся, залезай уже, поехали».

Подножка врезается в песок — на это уходит меньше секунды. А всё, о чём я успеваю подумать за это время, не вмещается даже в нашу бесконечность.

До свидания, школа!

Май. Душно. Спасают только редкие порывы ветра, доносящиеся из окна рядом с учительским столом.

Сначала ветер врывается сквозь настёж открытую раму (категорически, я повторяю, категорически запрещается при любом температурном режиме

открывать окна во время уроков!), подхватывает грязно-белый тюль (кто готов взять его домой и выстирать?), вытягивает его в одну полоску за моей спиной, затем бросает, пробирается дальше по классу, по пути впитывая запахи, шорохи, поднимая частички пыли. «И мчится прочь уже тлетворный», — старательно подчёркивает в книге длинноволосый, неестественно узкий восьмиклассник, больше похожий на девчонку.

Перед уроком он кинул мне на стол Кена Кизи в издании «Азбуки классики» с уже помятыми и раздвоившимися уголками, как бы показывая, что в целом уважает мой подход к преподаванию, но имеет ряд замечаний к содержанию программы, поэтому стремится внести посильный вклад в организацию нашего локального образовательного процесса.

Ветер тем временем как будто долетает до противоположной стены, почти ударяется, делает резкий поворот и действительно подхватывает по пути навязчивый запах. Тюбик суперсильного клея валяется на парте, а тот самый восьмиклассник озадаченно рассматривает свои пальцы. Он делает движения, похожие на те, которые совершают младенцы, лёжа в кроватке: они поднимают руки, растопыривают пятерню, внимательно осматривая каждый палец, и руками описывают в воздухе круги.

Ветер продолжает путь. Тюль, до этого похожий то на большой пузырь, то на тонкую ленту, теперь становится парусом. Я сижу у окна, и мне кажется, что класс похож на корабль, несущийся на всех парусах, а мы команда, и никто, кроме меня, ещё не знает, как высоко поднялись волны над ватерлинией.

— Саша, ну что ты делаешь?! — кричу я, опомнившись, когда замечаю, что его нет на месте, а белая макушка мелькнула где-то под партой в конце класса.

— Он сказал, что просто живёт, — отвечает мне кто-то вместо Саши.

И я остаюсь там. Навсегда. Среди холодных недоверчивых взглядов этих странных детей. В доме, пережившем Блокаду, но растерявшем всех своих жильцов. В доме, который помнит суд над Бродским. В пространстве, которое заставляет его обитателей до беспамьятства бояться инаковости, потому что празднует её и гордится ею. В пространстве — и вне времени.

* * *

Собрать вещи — это очень быстро, если живёшь как перекаати-поле. Ответственность за назначенный кабинет не предполагает не только того, что будешь в нём работать, но даже того, что в нём у тебя будет достаточное количество личных полок. Это к лучшему, это к лучшему. В три больших пакета помещается вся твоя маленькая смешная жизнь, прожитая здесь, с ними.

— Саша этого не переживёт, — говорит его одноклассница.

— Саша этого не переживёт, — говорит их классная руководительница.

— Они никогда вас не поймут и не простят. Подумайте ещё. Особенно Саша, — говорит директриса.

— Ты же просто училка. Ну, уволилась и уволилась, — говорит мой муж. — Забудут, и даже этот твой Саша.

И только Саша до самого последнего дня не говорит ничего. И в последний не говорит тоже. Он вообще больше со мной не говорит и на уроках не появляется.

* * *

Как тяжёлые бочки, спокойные катятся дни. После принятого решения работать удивительно легко. Для всех здешних — ты призрак. Коллеги смотрят сквозь даже во время разговора, администрация больше не нагружает никакими внеурочными делами, а ученики становятся тихими, словно мыши, в твоём присутствии. Начинаешь ощущать, как постепенно бледнеешь, растворяешься, чтобы в назначенный день вовсе исчезнуть.

Самыми верными собеседниками становятся гипсовые головы на подоконниках мастерских. Томные, молчаливые, усталые — они и от тебя не требуют никакого слова. Изредка переглядываются с тобой при встрече, но в основном из противоположного окна наблюдают за учебным процессом. В этом ежедневном молчаливом диалоге незаметно для себя самой обретаешь смирение — или думаешь, что обретаешь, потому что пока ещё не знаешь, как через полгода перепутаешь троллейбус и совершенно незапланированно выйдешь у знакомой арки — портала в прошлую жизнь. И прорываешь там взхлёб, пока не стемнеет.

Но сейчас ты стоишь и упорно дожимаешь последние уроки, как будто на них происходит всё самое важное.

Максим, не забудь принести доклад, без него я не смогу аттестовать тебя по причине нехватки оценок.

Вера, имей в виду — набирать объём за счёт «воды» — очень плохая идея. Тебе и так есть что сказать — скажи это.

Маша, ты путаешься в собственных мыслях, это чудовищный комок ниток. Нужно разобрать по одной и из каждой скатать отдельный клубок.

Никита... ох, Никита!

Так о чём же всё-таки мечтает лермонтовский герой? Забыться и уснуть. Верно... то есть он хочет умереть? Да, да, конечно. Несовместимость с миром слишком болезненна, противоречия между его устройством и картиной мира героя невыносимы, вечная неприкаянность рождает душевную боль, с которой нет больше сил справляться...

Но не тем холодным сном могилы.

Кто? Кто сейчас это сказал? Наконец-то. Молодец, Ваня.

Умереть, но не умирать. Как это? Попробуйте осмыслить сами — что испытывает человек, способный видеть в мире щемящую красоту, и вместе с тем — отрезанный от неё.

* * *

И я срастаюсь с этими стенами. Медленно обходя этаж за этажом, молча прощаясь, только убеждаюсь в том, что мы проросли друг в друга. И я воскрешаю в памяти ежедневно наблюдаемую картину — как десятки сутулых спин подпирают эти стены, подобно кариатидам, в ожидании звонка на урок.

Всю ближайшую вечность я буду смотреть глазами всех гипсовых фигур с холодных подоконников мастерских на четвёртом этаже. Я буду слушать их ушами бесконечную какофонию школьных разговоров. А мир к этому времени будет уже каким-то совершенно, совершенно другим.

Фукудзава Юкити

Обретение личности

Глава из «Автобиографии старца Фукудзавы»¹

С японского. Перевод и предисловие Александра Мещерякова

Фукудзава Юкити (1835—1901) написал и перевел множество работ, знакомивших японцев с достижениями западной цивилизации. Самой известной его книгой стала «Призыв к учению», в которой он констатирует отсталость Японии своего времени и призывает учиться у Запада. При этом автор настаивает, что образование — ключ к личному успеху. Фукудзава основал первый в стране частный университет Кэйо (один из самых престижных в современной Японии) и тем внес значительный вклад в становление системы образования. Имя Фукудзавы прекрасно известно нынешним японцам. Его идеи о равноправии и свободе личности изучаются в школах, а его фразу «небо создает всех людей равными» знает каждый японец. Точно так же, как и самую крупную купюру достоинством в 10 тысяч йен, введеную в оборот в 1984 году. На ней изображен Фукудзава. По запросу «сувениры, посвященные Фукудзава Юкити», японский Интернет выдает более шести тысяч наименований.

С 1603 до 1867 года власть в Японии принадлежала сёгунату Токугава, который из опасения перед «дурными иноземными влияниями» полностью закрыл страну для выезда и почти полностью — для въезда. Исключение было сделано для не слишком многочисленных китайских и крайне немногих голландских торговцев, им позволяли вести дела в городе Нагасаки на острове Кюсю. Таким образом, при режиме Токугава страна вела почти полностью автаркическое существование. Она была разделена на две с половиной сотни княжеств, пользовавшихся достаточно большой автономией от сёгунов, проживавших в Эдо (нынешний Токио).

В 1867—1868 гг. произошла революция Мэйдзи. Сёгунат был свергнут, и после этого Япония стала стремительно превращаться из страны закрытой в открывающуюся,

Мещеряков Александр Николаевич — советский и российский историк, японист, переводчик, литератор, доктор исторических наук (Институт классического Востока и античности, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). Помимо научных трудов, автор трёх книг стихов и книг прозы. В переводах А. Мещерякова на русском языке изданы сочинения Мурасаки Сикибу, Ёсиды Канэёси, Исихары Синтаро, Ясунари Кавабаты и других авторов. Лауреат премии «ДН». Живёт в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — № 11, 2023.

¹ Книга «Автобиография старца Фукудзавы» готовится к печати в издательстве «Лингвистика».

из страны «феодальной» в страну «капиталистическую», из страны «отсталой» в страну «передовую». Этот многотрудный процесс сопровождался радикальными реформами и трансформациями в японской картине мира. Фукудзава был не только свидетелем этих перемен, но и активнейшим их участником. В своих многочисленных публицистических работах, многие из которых публиковались в основанной им газете «Дзидзи симпо», он решительно поддерживал реформаторов и последовательно выступал за разрушение социальной иерархии и формирование самостоятельного и самодостаточного типа личности. Он мечтал о появлении «нового японца».

Творческому наследию Фукудзавы посвящено множество работ, исследующих его воззрения на политику, общество, государство, педагогику и т.д. Однако сама личность этого выдающегося просветителя, посмеявшегося поднять руку на основополагающие ценности государства и общества эпохи Токугава, обычно остается за рамками таких исследований. Мне, однако, представляется чрезвычайно важным понять, как формировалась эта личность, что позволит лучше уяснить не только самого Фукудзаву, но и тот тип человека, который оказался востребован временем революционных перемен.

Незадолго до своей кончины, в 1899 году, Фукудзава опубликовал автобиографию («Фукуо дзидэн» — «Автобиография старца Фукудзавы»), в которой с небывалой для прежней Японии откровенностью рассказал о себе. Этот труд считается первым полноценным произведением автобиографического жанра в Японии. Для токугавской Японии совершенно не свойствен воспринимавшийся бахвальством рассказ о себе и своих достижениях. За немногими исключениями люди того времени на разные лады подчеркивали свои следование нормам и включенность в общий строй жизни, придуманные не ими. Они стремились существовать в соответствии с поведенческим каноном и не выглядеть его нарушителями. Этот канон предписывал строгое соблюдение этикетных норм и знание своего места в социуме.

Сторонняя оценка была в высшей степени важна для токугавского человека, поэтому он ожидал таковой в форме своей официальной биографии (пусть даже и посмертной) и заранее старался ей соответствовать. Достоинства, достижения и награды того или иного самурая непременно фиксировались в родословной его дома или в хронике княжества, к которому он принадлежал. В связи с этим жанр биографии — образцовых самураев, верных конфуцианцев и благочестивых буддистов — получил в Японии широчайшее распространение. Страх перед осуждением своей непутевой жизни со стороны будущих поколений и предвкушение их похвалы служили мощнейшим стимулом для конформистского поведения. В подобной атмосфере автобиографии, то есть самооценке и самооправданию собственной жизни, места не находилось. До определенного времени такой же подход был свойствен и Западу, но в рамках гуманистического движения Ренессанса, когда все больше внимания стало уделяться «свободе воли» человека, там автобиография стала превращаться в мощный и общественно признаваемый дискурс.

Токугавский же человек ощущал себя прежде всего частью социальной группы (семья, корпорации, сословия, княжества, землячества), а не автономным целым. Однако Фукудзава не желал быть частью, он хотел быть именно «целым», одной из главных черт его характера было свободолобие. Слово «дзию» (свобода) традиционно трактовалось как отвратительное своеволие, но для Фукудзавы это был не «эгоизм», а желанная «свобода личности». Ему не хотелось жить по правилам, придуманным другими. Если и говорить о Фукудзава в связи с традицией, то он стремился быть инициатором традиции, а не ее продолжателем. В отношении жанра автобиографии

так и случилось: в XX веке этот жанр, у истоков которого стоял Фукудзава, становился в Японии все более распространенным и востребованным.

Фукудзава надиктовал текст стенографисту, поэтому он обладает обычными свойствами спонтанной устной речи: живостью, вульгаризмами, фактическими ошибками, повторами, противоречивыми высказываниями, непосредственностью и некоторой хаотичностью. Это не отменяет того факта, что Фукудзава был человеком наблюдательным и прекрасным рассказчиком.

Значительная часть «Автобиографии» посвящена детству и молодости, то есть тому времени, когда происходит формирование личности. Для журнальной публикации мы выбрали перевод главы, посвященной учебе Фукудзавы в осакской школе медицины, которую открыл Огата Коан (1810—1863) — известный врач, практиковавший европейскую медицину. В описании Фукудзавы студенты этой школы отличаются девиантным поведением, являвшимся манифестацией их «другой» идентичности, отличной от того типа личности, который преобладал в токугавской Японии.

Фукудзава Юкити принадлежал к семье низкоранговых самураев из крошечного княжества Накацу, расположенного на севере Кюсю. Но родился он не там, а в Осаке. Место рождения было обусловлено тем, что его отца — Хякусукэ — направили туда в представительство княжества, где он занимался торговыми и финансовыми вопросами.

Фукудзава было всего полтора года, когда его отец умер в возрасте 44 лет — приблизительно столько жил в то время «средний» японец. После смерти Хякусукэ мать Юкити с пятью детьми вернулась в Накацу, где они вели весьма бедную жизнь на причитавшееся семье рисовое довольствие, предоставлявшееся княжеством. Из-за нехватки средств Юкити смог начать учиться, только когда ему исполнилось 14 лет, — много позже обычного. В Накацу имела княжеская школа, но низкое происхождение не позволяло Юкити поступить в нее. Поэтому он учился в классах, набранных частными преподавателями.

Свое родное княжество Фукудзава неизменно характеризовал как захолустье. В Накацу он зубрил канонические конфуцианские тексты, а ему страстно хотелось постичь «западную науку», под которой тогда подразумевалось изучение голландского языка. В 1854 г. ему удалось отправиться в Нагасаки — ближайшее место, где это было возможно. Немного поучившись там, в 1855 г. Фукудзава переехал в Осаку, где поступил в медицинскую школу Огаты Коана, в которой учились молодые самураи из разных княжеств. Притягательность школы Огаты заключалась для Фукудзавы прежде всего в том, что именно там он мог выучить голландский язык, дававший возможность познакомиться с научными и цивилизационными достижениями Запада. Он не собирался становиться медиком, но штудировал вместе с другими студентами книги по анатомии, биологии, химии, что привило ему вкус к естественным наукам. В школе Огаты он проучился до 1858 г., после чего по приказу княжества перебрался в Эдо, где стал преподавать голландский язык молодым самураям.

Школа Огаты любопытна не только тем, чему там учили. Не меньший интерес представляет царившая в ней атмосфера, в которой Фукудзава окончательно сформировался как личность. В «Автобиографии» он дал красочное описание школярской жизни молодых людей, которые овладевали западными науками и являлись абсолютным меньшинством в конфуцианской стране с сильным ксенофобским уклоном. Именно для демонстрации своего отличия от других студенты вели себя подчеркнуто вызывающим образом и гордились этим. Фукудзава охотно участвовал в проделках своих товарищей и, рассказывая о них, стремился показать, что с самого начала обладал независимой натурой, не признававшей сложившихся норм

Евгений Абдуллаев

Тихие книги

Восемь поэтических сборников 2024 года

Самое важное в поэзии возникает сегодня в тишине.

Почему — «в тишине»? И если в тишине, то почему именно сегодня (а раньше — нет)?

Да, конечно же, и раньше.

Сам пишу о важности тишины в поэзии с начала 2010-х. Прошу прощения за вынужденные самоцитаты.

«Есть в поэзии одна совершенно неуловимая категория. О ней сложно говорить, ее трудно “загнать в слова”. Это — молчание, тишина. <...> И это есть одна из примет перехода от поэзии-пения — к поэзии-слушанию. От монологического, самозабвенного вытравливания стиха — к диалогическому вслушиванию в тишину, чреватую речью другого...»

Это из статьи из цикла «Поэзия действительности. Очерки о поэзии 2010-х» («Арион», 2012, № 3).

И еще — более определенно — в статье «Тихая речь (поэзия в эпоху масс-медиа)», вышедшей там же, в «Арионе» (2018, № 4). Где писал «о предельно тихом, приглушенном звучании поэтического слова в условиях тотального медийного “шума”». «Тишина современной поэзии — работа со словом в его внешней неброскости, незаметности, негромкости, на грани его растворения в ней, тишине». И пытался назвать имена современных «тихих» поэтов.

«Их стихи, как принято сейчас говорить, вполне “резонансны”. Но иной, не медийной, резонансностью. *Cum tacent, clamant*, если вспомнить известную фразу Цицерона. *Молча кричат*».

Недавно обнаружил, что почти одновременно о «новых тихих» разговор шел и в отношении российского кинематографа, и даже в отношении фолк-музыки 2010-х¹.

Последние годы эта «новая тишина», похоже, стала трендом. Андрей Пермяков опубликовал статью «Новые тихие. Об экстравертной суггестивной поэзии». «...При ответственности за сказанное — уровень навязчивости почти никакой. Потому — *Новые тихие*. Будет читатель — будем рады поговорить и негромко высказать мнение о происходящем» («Знамя», 2021, № 8).

¹ «Новые тихие». Режиссёрская смена — смена картин мира // Искусство кино. 2011. № 8 (URL: <http://old.kinoart.ru/archive/2011/08/n8-article4>); <Без названия> // Сайт «Афиша Daily». 25 августа 2011 г. (URL: https://daily.afisha.ru/archive/volna/archive/new_quiet/).

В 2019 американский поэт Джозеф Мэсси (Massey)¹ выпустил сборник «Новая тишина» (A new silence). Или вот — немного из другой сферы. Масштабный «тихий перформанс» на музыкальном фестивале в Гластонбери в прошлом году. Когда сербская перформансистка Марина Абрамович попросила многотысячную толпу семь минут помолчать. И сама простояла эти семь минут молча.

Эти поиски тишины имеют, похоже, общую цель. Быть услышанным. В эпоху всеобщего непрерывного говорения, тиражируемого буйно разросшимися медиа. В эпоху «новых чум и семилетних боен». Только то, что сказано сегодня тихо, может быть кем-то услышано и понято. Предельно тихо.

Поэтический сборник сегодня и может стать таким инструментом тихой речи.

Он, впрочем, уже давно перестал быть чем-то громким. Чем-то шумным и медийно заметным. Сама поэзия сегодня сдвинулась в область тишины.

Нет, если судить по количеству издательств, публикующих поэтические сборники, то всё выглядит не «тише», чем лет десять-пятнадцать назад. Пусть в мире поэтического книгоиздания, в силу его неприбыльности, нет столь же очевидной иерархии, как среди издателей современной прозы (с «РЕШ/АСТ» на вершине, «Альпиной нон-фикшн», и далее, по убывающей), но и здесь есть известные издательства и серии. «ОГИ» и его проект «Б.С.Г.-Пресс». Поэтические серии «Нового литературного обозрения», «Русского Гулливера», «Водолея». Отдельные сборники «Jaromír Hladík press». Серия «Пальмира-Поэзия», бодро стартовавшая, но слегка сбавившая обороты. «Стеклограф» и его конкурент-антипод «СТИХИ». Запущенная в прошлом году серия «Пироскафа», которая со временем, возможно, займет место закрытой пару лет назад «Воймеги»...

Но почти всё это издательства небольшие. Тиражи редко превышают двести-триста экземпляров, на прилавки (за исключением нескольких дружественных магазинов) их книги не попадают и в Сети почти не заметны.

За пределами Москвы и Питера пейзаж ещё более бледный. Поэтическая серия «Действующие лица» ростовского журнала «Prosodia». Чебоксарская Free poetry. Что еще? Была интересная екатеринбургская серия «InВерсия», в прошлом году закрылась.

Ну и за пределами России. В постсоветских странах: Украине («Каяла», «Друкарський двір Олега Федорова»), Казахстане (серия журнала «Дактиль»), Грузии (серия телеграм-канала «*ქოიჩის ას ის*»). И за пределами постсоветского пространства. В США (Freedom Letters), Израиле («Книга/Сефер» и «Издательство книжного магазина “Бабель”»), Латвии (Literature Without Borders); в других странах — скорее, точно.

Проблема не в местонахождении издательства и не в степени политической ангажированности. И даже не в предпочтениях издателей. Хотя всё это, и первое, и второе, и третье, имеет место. Дело в статусе поэтического сборника.

Из важнейшего инструмента поэтического высказывания он превратился в «ещё одну книжку». О выходе которой узнает очень узкая группа людей. Презентации почти выдохлись как жанр. Лет десять назад они были едва ли не главным инструментом предъявления новых сборников *urbi et orbi*. Сократилось их количество, ужалась аудитория. Говорю о серьезных сборниках серьезных поэтов. У любителей и полупрофессионалов жизнь, как всегда, кипит.

Но поэтическая Земля вертится, и сборники продолжают выходить. Почти все «старшие» поэты издали за прошлый год по одному. И Александр Кушнер, и Михаил Айзенберг, и Владимир Аристов, и Владимир Салимон, и Александр

¹ Отдельные его стихи можно найти в Сети в переводах Дмитрия Кузьмина.

Климов-Южин, и Дмитрий Веденяпин¹; Владимир Гандельсман — даже три². Да и «средне-возрастные» и «младшие» не отстают... Другой формы поэтического высказывания, которая могла бы полноценно заменить собой сборник стихов, пока не придумано.

К началу этого года у меня набралось даже больше сборников, чем обычно. Так что долго не мог определиться, как и что из них выбрать. В итоге остановился на двух критериях. О первом уже сказал: работа с тишиной, с *тихим* высказыванием.

И второй критерий, *соединяющий*. Разбив отобранные книги на четыре пары, постарался, чтобы в каждой одна была издана в России, а вторая — за её пределами. Поскольку современная русская поэзия едина. Едина во множестве и разнообразии поэтик и жанров. Едина в своих авторах, проживающих в самых разных частях России, а за её пределами — в самых разных странах. Едина в разных, часто противоположных взглядах, пульсирующих в ней. Когда многие мосты, как кажется, сожжены, а зеркала разбиты. И нужно собирать обгорелые, ещё дымящиеся конструкции, даже рискуя обжечься. И осколки, рискуя порезаться. Для будущих мостов и зеркал.

Единственное сожаление — о предварительно отобранных, но не вошедших в этот обзор книгах. Утешаюсь тем, что смогу ещё о них написать. Хватило бы только внутренней тишины. И внутреннего мира.

Максим КАЛИНИН. В горстях ночных небес / Послесл. В.Калмыковой. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2024. — 172 с.

Вадим КАЛИНИН. Дополнительное время. — Киев: Каяла, 2024. — 112 с.

В русской поэзии редко встречаются однофамильцы среди современников. Сегодня в ней живут и пишут сразу три Калинина. Михаил Калинин, Максим Калинин и Вадим Калинин. Они ещё и практически ровесники — погодки. Михаил — 1971 года, Максим — 1972-го, Вадим — 1973-го.

Этим сходство и ограничивается. Михаил живет в Туле, Максим — в Рыбинске, Вадим — в Таиланде. Михаил Калинин пишет медитативным верлибром на грани прозы. Максим Калинин — в очень разных формах, но с отчетливо звучащей лирической нотой. Вадим Калинин — в последние годы — во внешне опрошенной манере, близкой обэриутам.

Всех троих тем не менее я бы отнес к «тихим поэтам». Ничего внешнего, нарочито яркого; громкость сведена к минимуму.

О книге Михаила Калинина «Год молитвы» (2023) я писал в прошлогоднем обзоре.

В 2024 году по одной книге выпустили Максим Калинин и Вадим Калинин.

В книге Максима Калинина, «В горстях ночных небес», вообще очень тихо.

¹ Александр Кушнер. Неизвестному другу. СПб.: Геликон Плюс, 2024; Михаил Айзенберг. Не трогай нас. М.: Новое издательство; Ереван: Common Ground; Stockholm: Hyperboreus; Тель-Авив: Изд-во книжного магазина «Бабель», 2024; Владимир Аристов. Платок скомкан — скомкан платок. М.: Флаги, 2024; Владимир Салимон. Дозорный видит дым. М.: ОГИ, 2024; Александр Климов-Южин. Условное название. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2024; Дмитрий Веденяпин. Обещание. Paris: De Mauny Productions; Éditions Tourgueneff, 2024.

² Изъятие. Франкфурт-на-Майне: Esterum Publishing, 2024; Дочь и краткая история мира. Киев: Друкарський двір Олега Федорова, 2024; Школьный вальс и прочая музыка. Киев: Друкарський двір Олега Федорова, 2024.

Время дня — чаще всего ночь; время года — зима. Всё затихло, замерло, застыло. Жизнь — только в слабой пульсации строк, в перемежении рифмованных стихотворений краткими верлибрами. («В заброшенном саду/ Паданцы/ Стучат по земле,/ Словно комья глины/ По крышке гроба».) В легкой смене лексических регистров, ненавязчивых вкраплениях диалектизмов и архаизмов. В какой-то блоковской печали, которая разлита во всем. Местами близость к Блоку проступает особенно явно: «Я покину заветную келью/ И распнусь на кресте ветровом...»

Блок, Есенин, Заболоцкий — их эхо по-разному присутствует и переплетается в этих очень негромких элегических стихах.

С облаков два глаза на мир глядят.
Кошка-мать уходит искать котят.
Не достать рукою до облаков.
Мать-собака уходит искать щенков.

По ночам внимательный Водолей
Соглядает их в тишине полей.
А с утра — язвительный Скорпион,
Хоть не виден сам в это время он.

Слева смерть шагает, а справа страх.
Оседает на шкуру дорожный прах.
Не понятно: сед или пылен мех.
Но Господь погладит и примет всех.

Коль дорога твоя убегает вниз,
Отзовись, когда позовут: кис-кис.
Отзовись на свист, тишину казня,
Не гадай: меня или не меня.

«Мать-собака», которая «уходит искать щенков», забежала сюда, скорее всего, из есенинской «Песни о собаке». Но само это стихотворение не о собаке; нет в нем и есенинского надрыва. Все будет хорошо, «Господь погладит и примет всех». И котят, и щенков, и тебя; пусть даже дорога твоя и пошла под уклон. Нужно только вовремя отозваться — на небесное «кис-кис».

Это стихотворение неожиданно оказалось созвучным другому, из книги Вадима Калинина «Дополнительное время».

Котик убивает таракана
И приносит в дом.
Лунный сад через стекло стакана,
Словно подо льдом.
Стены, корни, пруд,
Цветы, осока
Все искривлены,
Словно мощным ливневым потоком
Вдаль унесены.

Таракан, как лодочка в потоке.
В шубе меховой
Кот стоит над ним большой, жестокий,
С рыжей головой.

Лунный свет, уснувшая деревня,
Листья в волосах.
Мы глядим из-за стекла на древний
И косматый сад.

Тоже ночь; кошка — точнее, кот. То же отождествление лирического «я» с животным; но не с котом, а с убитым им тараканом. Он тоже со своей литературной родословной, о которой сообщает рифма «таракана — стакана». Да, стихи капитана Лебядкина. Только вместо лебядкинского Никифора в роли фатума — кот.

И ещё. В стихотворении Максима Калинина есть хоть какая-то смутная надежда. «Господь погладит». Или хотя бы Водолей или Скорпион не оставят своим астральным попечением. Здесь же — ни надежды, ни взгляда вверх. Наверху — только кот, «большой, жестокий, с рыжей головой». Остается долгий взгляд сквозь стекло стакана — на древний сад; но не райский, а косматый, тёмный, ночной.

Собственно, вся книга Вадима Калинина — об этом опыте жизни в отсутствие надежды. Начиная с названия, «Дополнительное время». «Автор перенёс тяжелую операцию и остался жив, — сообщается в предисловии. — Он словно бы получил от жизни немного дополнительного времени».

Вадим Калинин начинал в конце 80-х как неомодернист. Входил в созданный Дмитрием Кузьминым литературный проект «Вавилон». Но активным «вавилоновцем» как, скажем, Львовский или Давыдов, не был; а от формальных экспериментов всё больше отходил к неоклассической поэтике. Но с сохранением внутренней парадоксальности и тревожной многозначности.

Мария ГАЛИНА. Ниневия. / Предисл. М.Липовецкого. — Лондон: Freedom Letters, 2024. — 138 с.

Вадим МУРАТХАНОВ. Путешествие. — М.: Стеклограф, 2024. — 42 с.

Об их книгах я пишу почти всю свою литературно-критическую жизнь, с нулевых. И кажется, всё, что мог, о стихах Марии Галиной и Вадима Муратханова уже сказал.

Но выходят новые книги. И понимаешь, что есть ещё что добавить. Не столько потому, что изменились сами поэты и их стихи. Изменилось время.

Это пронзительно разные книги. Хотя обе — в том числе о тишине.

У Галиной это тишина-немота. Немота как невозможность выразить опыт жизни в новых условиях. Когда рядом война. Когда она, жизнь, становится предельно хрупкой и уязвимой.

вы думаете это мы
вам говорим из тьмы
но нет это не мы
это наверняка не мы
ибо мы
немы

«Ниневия» — это книга попыток изобретения нового языка, — пишет в предисловии Марк Липовецкий. — Языка «уже по ту сторону истории».

Момент важный. Большинство поэтических откликов на военные события последних лет, которые читал, производят одно общее впечатление. Вино новой темы, влитое в прежние, ветхие мехи. Независимо от позиции авторов и степени их таланта.

Новая реальность требует нового поэтического языка. Но он пока не возник; чаще не заметно даже воли к его рождению. (Я бы предпочел говорить именно о рождении, а не об изобретении: изобретаются приемы — язык может быть только рожден.)

И дело тут не в «когда грохочут пушки, музы молчат». Замолкают они, только когда их самих заставляют грохотать. Поэтически замолкают. *Cum clamant, tacent.*

«Ниневия» показывает возможность рождения такого языка — через предельную образную аскезу. Через ту «нулевую степень письма», которую Геннадий Кацов (цитируя Барта) видит в этой книге («Эмигрантская лира», 2024, № 3). Через путь аскетичного минимализма, по которому пошел переживший Вторую мировую Пауль Целан. Через апофатичность, разлитую во всем. Даже в названии книги, «Ниневия», слышится это отрицание, «ни» и «не».

тем не менее
мы выжили хотя это возможно уже не мы
а холмы и зелёные валуны
реки вырастающие из тишины
каждый кто не дождался этой весны
это мы, которые лишённые языка
теперь наблюдаем ветер глядим на белые облака
наплывающие издали

Сознательно обедненный словарь. Бедная рифма: «тишины — весны», «облака — издали». Бедные, на грани банального, эпитеты. «Белые облака».

В «Неземле», вышедшей почти двадцать лет назад, об облаках было так: «И облака горячий пах/ к акации прилип». Мне нравилась и продолжает нравиться эта жаркая, барочная избыточность «прежней» Галиной. Но сейчас, похоже, так уже нельзя.

«Путешествие» Вадима Муратханова кажется, на первый взгляд, написанным из другого мира. Спокойного и устойчивого, *мирного* мира. С тишиной. С дождем, в который кто-то вышел прогуляться. С уютным анапестом и перекрестной рифмой.

Слышишь? Дождь. Поливает сугробы,
в жестяной подоконник стучит.
В тихий час окунуться попробуй,
где февраль растворён и размыт.

Ты вернёшься другим и не скоро,
и не вспомнит никто о дожде,
только ты — и стареющий сторож,
стерегущий круги на воде.

Но спокойствие это — только внешнее. Почему человек, вышедший под февральский дождь, вернется «другим и не скоро»? Потому что речь идет о ребенке — на что вроде бы указывает «тихий час», а «другим» — значит просто выросшим? Или же речь о взрослом — и на память невольно приходит «Из дома вышел человек», самое незамысловатое и самое трагическое стихотворение Хармса?

В любом случае, ощущение чего-то по-настоящему страшного. Хрупкости и ненадежности любого уклада, устоя, уюта. Когда «сразу за углом —/ небытия кромешного разлом», если вспомнить более раннее стихотворение Муратханова, «Памяти Шишкина». И «ты вернёшься другим» неожиданно откликается с «это возможно уже не мы» из «Ниневии».

И чем внешне спокойнее и размереннее повествование, тем этот «разлом небытия» ощущается сильнее.

В дальний путь провожают диван.
Управляет диваном Иван.
У него телевизор и плед,
то есть полный комплект.

В телевизоре берег морской,
неподвижные птицы парят,
сослуживцы идут на парад
и жена ему машет рукой.

И колёсики тихо скрипят,
навевая покой.

Современный Емеля, видящий разные чудеса и исполняемые желания — правда, только в телевизоре. Куда движется этот диван со своим водителем-телезрителем? Возможно, туда же, куда ушел в дождь герой предыдущего стихотворения. Куда уходят, пропадают, путешествуют все герои этой книги. Туда, откуда нельзя вернуться, — или вернуться, но уже другим. Потому что никакое возвращение невозможно.

И в этом «Путешествие» Муратханова тоже неожиданно перекликается с «Ниневией» Галиной. Это книги о необратимом, всепожирающем времени. Времени, движение которого тишина/немота делает особенно очевидным.

«И только времени рука/ не утомляется нисколько». «Когда б не страх, что истекает время...» Это из «Путешествия». В «Ниневии» Галиной «рука времени» становится — более привычно — его рекой. Но способной — ненадолго, вопреки Гераклиту, — на возвратное движение. Но только ненадолго.

река времени по праву славится своими водоворотами
возвратными течениями
и рукавами отходящими от основного потока
в одном из них всё ещё находящемся в пределах видимости
зелёные вербы отражаются в тихой зелёной воде
стрекозы-стрелки бирюзовые стоят над осокой и остролистом
город на холме не знает что такое прилёты
<...>
город как сошёл со странички туристского проспекта
исторический центр нетронут
даже мэр не ворует
только спутники Илона Маска
чей рождественский поезд проносится с юга на юго-запад
look from south to south-west elevation from horizon:
start: 33° max: 45° end: 10°
наблюдают с высоты своего неверного положения
как этот рукав подобно остальным рукавам данной субстанции
пропетляв некоторое время по метаморфизованным породам
воссоединяется с основным руслом

Это второй план тишины, присутствующий в обеих книгах. Тишина не только как

апофатическая немота невыразимого, но как молчание, возникающее при выходе из реки времени (которая есть одновременно и река языка, *речь*).

Тишина не *безвременья*, но *над-временья*.

Майка ЛУНВСКАЯ. Недостаточно памяти. — М.: Изд-во «Наш современник», 2024. — 62 с.

Влада БАРОНЕЦ. Слова прощения / Предисл. Е.Вежлян. — Алма-Ата: Дактиль, 2024. — 76 с.

В книге «Недостаточно памяти» — другая тишина: первозданной природы. Молчание человека, теряющего себя в молчании пространства.

«Пространству словно вырвали язык —/ кто знал, что тишина такой бывает?» Это тишина — продолжая тему времени, — *до-временья*. Возможно, это обусловлено местом жительства автора. Майка Лунёвская живет в селе Берёзовка 1-я Тамбовской области.

«Живу в селе, что-то делаю. Здесь мой текст, звук, маркер», как пишет она о себе на страничке ВКонтакте.

В книге, действительно, много природы, деревьев, трав, ягод. От сельской идиллии все это далеко. Если это и Эдем, — то после грехопадения.

Вечернее небо — раздавленная малина.
 Пыльное поле, скошенная поляна.
 Детство совсем запомнилось как молитва
 (мысленно, постоянно).
 С бывшего дна осколки от перламутра —
 это была река, но она засохла.
 Здесь на цветках лежит золотая пудра,
 а от людей остался пакет и стёкла.
 <...>

Но райский сад и с высохшей рекой, и с пакетом, стеклами и прочим человеческим мусором — всё же райский сад. В него всё равно тянет вернуться. Как в детство, как в первозданную тишину. И раствориться в ней.

и солнце в дозах небольших и небо как жених
 в костюме светло-голубом кто не мечтал о ком
 такая видишь тишина что снег и тот притих
 как лодка в водах грунтовых со спящим рыбаком

принять как данность как женьшень настойки на спирту
 теперь бессмысленность всего полнейшую причём
 что разрушается эмаль и даже речь во рту
 я человек сам на себя на что я обречён

что всё кончается быстрее чем можно уловить
 лежи спокойно под землёй плыви во сне рыбак
 что я никто никто никто три раза повторить
 и больше вслух не говорить но знать что это так

В этих внешне нехитрых ямбах есть всё — весь космос, в вертикальном срезе.

Небо, как мужское начало; но с неожиданной вариацией этого архетипа — «небо как жених». Солнце и снег. Земля и подземные воды. И темноватый по смыслу (но именно этим важный) подземный рыбак. Который неожиданно сопрягается с лирическим субъектом этого стихотворения, в его самоумалении и смирении. В чувстве «бессмысленности всего» и, прежде всего, его речи.

Тишина в «Словах прощения» Влады Баронец тоже возникает от ощущения бесполезности слов. Но не слов вообще, как у Лунёвской, — а слов, затасканных, заболтанных, потерявших смысл.

Например, слова «мы».

я слышу лишь
части речи

но что-то ещё можно
восстановить
например мы означает
что тебе было очень
страшно когда ты
разглядывала рыбок и
потерялась на рынке
рыбки всегда молчат

я чувствую это острое мы
в животе между
нижними рёбрами и
полостью злости

или когда ты
называешь людей
по национальности
вместо того чтобы

(мяч у испанца
немец бьёт по воротам
кто же третий
скажи комментатор)

вместо того чтобы
спросить почему здесь
так холодно
глухо и больно
<...>

У Лунёвской «разрушается эмаль и даже речь во рту»; у Баронец — более страшный образ — речи, разрушающей рот: «а теперь и слова во рту/ оставляют дыру// разговоры дырявым ртом/ встретились поболтали/ о том».

Речь как болтовня — не в смысле пустословия, а скорее в том, как ее понимал Хайдеггер: как забалтывание, как лишение языка его смысла. И «мы» может стать частью *болтовни*. «Мы» как попытка поделить людей на своих и чужих («вы», «они») — например, по национальности. Или по половым признакам:

вы украшение нашего коллектива
со вкусом клубники
вы хорошо пахнете
плачете закрывая лицо

сильный пол это мы
но и многие женщины
внутренне сочетаются
с нашими планами победить

Чтобы вырваться из этого неподлинного, клишированного и полуабсурдного языка и требуется тишина. Требуется «децентрированная речь», «вся в разрывах, лакунах, опущенных звеньях», как пишет в своем отклике Ольга Балла («Кварта», 2024, № 1)¹. Речь, то и дело исчезающая, соскальзывающая, проваливающаяся в молчание. Неслучайно упоминание рыб в предыдущем отрывке: «рыбки всегда молчат».

Но это молчание не самоцельно — оно лишь позволяет вернуться к *слову*. К иному слову и на новом уровне. К словам прощения — как, напомним, и названа эта книга. «Утро. книги. наше молчание/ лагерь. еда и лицо замещение/ я собираю слова прощения/ чтобы отправить туда».

Наталья БЕЛОЕДОВА. Кто тут живой? — М.: «СТИХИ», 2024. (Серия «Сингл», 87). — 36 с.

Александра ХОЛЬНОВА. Здесь обернёшься. — <Без места>²: ποιησις as is, 2024. — 70 с.

И напоследок ещё две дебютные книги.

Книга Натальи Белоедовой *вся* сделана из тишины. Само это слово «тишина» повторяется в книге неоднократно. Если у Баронец символ тишины — рыбы, то в «Кто тут живой?» — птицы. Первая часть книги так и озаглавлена — «Читая птицу».

так сидеть и
разговаривать
долгое такое слово

тянется, словно вечер
а потом улетает птицей
на ветку садится
глядит на меня во все глаза
крыльями машет

не спрашивай меня

¹ Вообще, книга Баронец успела за короткое время привлечь внимание многих рецензентов: кроме Ольги Балла, еще Елены Генерозовой («Знамя», 2024, № 9), Алии Ленивец (Сайт Prosōdia, 3 июня 2024 г.), Максима Алпатова («Артикуляция», вып. 22). Редкий сегодня случай для поэтического сборника — к тому же дебютного.

² «ποιησις as is» («поэзия как есть») — телеграм-канал, созданный и редактируемый поэтами Григорием Комлевым и Александрой Поляковой, живущими в Тбилиси. Вышли два альманаха (избранное из стихов, публиковавшихся на телеграм-канале); теперь, сборником Хольновой, начата книжная серия.

не спрашивай
больше ни о чём

было, да прошло
разговаривай с тишиной
одну её слушай

У ранней Ахматовой, чьей «тихой» интонации наследует Белоедова, птица-тоска садилась на ветку и начинала петь. Здесь же птица — «долгое слово», которое «тянется, словно вечер». Какое? Неизвестно. И песня у неё — тихая, короткая, шепотом, на одной «ш». Не спрашивай. Больше ни о чём. Было да прошло. Разговаривай с тишиной. Одну её слушай.

Лирическое «я» этому совету послушно следует: разговаривает с тишиной и слушает её. Или — эхо, возникающее в тишине, от собственного голоса.

кто-то живой под шкафом
кто-то живой под ковром
кто-то живой под тумбой
кто-то живой под столом

— кто тут живой?

не слышу
не отвечает никто

— ну хорошо, кто тут мёртвый?

эхом откликнулись:
— ктооо?

Детская игра в прятки превращается в мрачноватый экзистенциальный квест, в котором живое — молчит. Либо отсутствуя, либо не желая выйти, вынырнуть из стихии тишины.

Эта тишина интересно оркестрована: размер (дактиль) то и дело прерывается паузами. То же — и рифма. Возникнет, простая, бесхитростная (*ковром — столом* или *птицей — садится* в предыдущем отрывке) — и снова пропадет.

Это ещё и тишина самого языка. Русского языка, замолкающего, вслушивающегося в другой. В случае Белоедовой, родившейся и живущей в Ташкенте, — в узбекский. Узбекские слова, реалии пропитывают стихи («чилля — это сорок дней молчания...»)

Автор следующей — последней в этом обзоре — книги, Александра Хольнова (Ашход, Израиль), тоже живет в окружении другого языка.

дам адом аин захов
йам йарок пёрах лаван
сердце сердца бога бог
кровь лилит земля адам¹

йам йарок перах лаван
сердце сердца бога бог
кровь лилит земля адам
дам адом аин захов

Тут слышится не столько «считалочка» (как называется это стихотворение),

¹ «Красная кровь глаз золотой/ море зелёное белый цветок» (*иврит*).

но и возвращение к праязыку, к самым важным и первым словам. Кровь. Сердце. Бог. Земля. Море. И снова, повторяя их.

Вся поэтика Хольновой, собственно, построена на этих повторах. На обновлении этого первословаря через повторение. Тихое, словно бормочущее, камлающее.

...И упаду в пожухлую траву,
меня убьют, и я, должно быть, вздрогну.
Меня убьют: и я умру, я не умру,
я не умру, пока на грязных стёклах
не вырастет ещё одна резьба,
гравюра, небо, карта головного мозга,
пока лицо не станет солнечным пятном
в серебряной тарелке плёса.

Или «и льётся солнце, солнце, медовуха». Или: «На корм земле, вороне, рыбе,/ пока все реки вмиг не пересохли,/ брось кислый мякиш. Сплю и говорю/ с костлявой рыбой, вставшей поперёк/ речного горла. Сплю и говорю...» Снова (как у Лунёвской) рыба, повторенная дважды. И дважды: «Сплю и говорю...» Это речь между сном и явью; оттого ее тихость, гипнотическая медитативность, внутренние рефрены и «плавающие» рифмы (*траву — умру, мозга — плёса...*).

Восемь книг, восемь разных, в чём-то пересекающихся образов тишины. Восемь негромких, но отчетливо слышимых голосов. Которых в современной поэзии, разумеется, больше.

И каждый — чем негромче — тем слышнее.

Александр Чанцев

Отчаяние, новая перспектива

Этот выпуск рубрики довольно естественно, как мне показалось, объединил мыслителей, которые не только действовали в примерно один период, но и имеют общее, если не прямо биографически, то степенью своего влияния на умы последующих поколений. Маргинального, но тем более важного, ведь они прокладывали дороги мысли в стороне от столбовых. Книги (о н)их, впрочем, довольно разноплановы. Так, основателю антропософии Рудольфу Штейнеру посвящена весьма свободная, даже бунтарская по духу монография. Автор книги об одном из, наравне с Рене Геноном, создателей интегрального традиционализма Юлиусе Эволе исследует определенный период его жизни, позволяя взглянуть на его фигуру в новом свете с учетом вновь открывшихся фактов. Первая отечественная биография главного философа отчаяния Чорана более традиционна и добротна, но и она может вызвать определенную полемику. Книга публициста и историка консервативной революции Армина Молера, вряд ли до сих пор широко известного в нашей стране, содержит не только его эссе, но и подробный очерк о нем.

Во всех же этих книгах мы увидим, что интенции всех рассматриваемых мыслителей сходились в пределе к чаянию кардинально пересмотреть устройство нынешней цивилизации и пути индивида в ней — то есть к тому, что и интересует нас прежде всего в этой рубрике.

Господин над идеями

Карен СВАСЬЯН. Рудольф Штейнер. Поволенное будущее / Пер. с нем. автора. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. 398 с.

Книга о Рудольфе Штейнере¹, основоположнике антропософии, ученом и оккультисте, переоцененном или недооцененном, оценки до сих пор расходятся. Сразу надо сказать, что это точно не биография. Даже, возможно, и не монография, а что-то другое. Такая импрессия погруженного — как в само учение, так и споры о нем — ученого, который, отталкиваясь от предмета разговора, «продвигает собственную повестку», как сейчас говорят. Инспирированную антропософией, безусловно, но уходящую в далекие философские и религиозные области. Что ж, тем интереснее. Хотя подчас и складывается впечатление, что сам Штейнер, как в клипах 90-х, только мелькает, проступает из тени в отблесках стробоскопов и зеркальных шаров.

Автор, в прошлом профессор философии, истории культуры и эстетики Ереванского университета, переводчик на русский и издатель Ницше, Шпенглера и Рильке, сам перевел свою книгу 2005 года с немецкого, конечно, специально её переработав. Об этом он пишет в предисловиях. А также — о своих взаимоотношениях с русским языком (родной — армянский; русский и немецкий — выученные), о том, что язык Рильке и Манделштама «усиливают тишину», что русская философия стремглав пытается догнать западную, перейдя «от Домостроя к Хайдеггеру», и о многом другом. Отвлечения, которые ценил ещё Холден Колфилд? Да, в принципе, интереснее формализованного научного стиля.

Предисловие и эпиграфы (религиозное почти восхищение А.Белого и М.Цветаевой Штейнером) сигнализируют, призывают к особенному отношению к объекту исследования. Или хотя бы ко вниманию. «...Если на Западе Штейнера не воспринимают, читая его, то в России его не воспринимают, как раз не читая его»². А тот же Серебряный век, утверждает автор, занял настоящую «мою оборону» против доктора: «подступает уже настоящая бездна — Штейнер» (С.Булгаков). С чем уже можно поспорить, ибо автор несколько лукавит, приводя лишь анти-штейнерианские отзывы и соответствующие настроенных персоналий. Так, в книге упоминается ученик Штейнера А.Белый, но не менее трепетно к нему относились уже никак не упомянутые М.Волошин, М.Чехов, В.Кандинский, художница А.Тургенева, писательница и художница М.Сабашникова-Волошина, to name a few, как говорится... Упомянем ещё и беспредельный пиетет ко Штейнеру самого автора — кому интересно, а кому нет, так и вообще пусть книгу отложит: «Альберт Штеффен назвал однажды Штейнера “святым”, а мы всё ещё воздерживаемся от соответствующей оценки этого настоящего на терпком римско-католическом стиле, несмотря на всю его искренность».

Но всё же о стиле изложения, дабы понять, как здесь выстроена речь о Штейнере — и гораздо чаще о ноосферических материях вокруг него. Перед нами, если гипостазировать и обобщать, своеобразный очерк мысли с определенных (автором) позиций. От самого начала — «Advocatus diaboli Штирнер и doctor angelicus Фома отправляются туда, где немецкое идеалистическое Я должно родиться как ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЛОТИ, и поднести новорожденному свои дары: один — спасти Я от языческо-философского среднего рода и обратиться к нему по имени, и другой — найти ему путь в рукоположенном самим Христом познании, которое может возникнуть только из чувственного мира...» И вот, например, вплоть до дадаизма, который, по мысли автора, своим маркетингово продуманным и просчитанным нарочитым отказом от смыслополагания («первофеномен бессмыслицы») «подводит единственно возможный итог нежелания мира считаться с Рудольфом Штейнером». Хотя это ещё подытог, «а вот уже ягодки будут»: «Славную таблицу категорий западной философии от Аристотеля до Гартмана Жан-Поль Сартр дополнил категорией тошноты, а модный Слотердаик успел внести свой вклад в пускание ветров, которые он тщетно пытался заглушить кашлем мысли».

Некоторые наблюдения, впрочем, хоть и столь же субъективны, но любопытны: «На протяжении тысячелетий теологи заставляли Творца Неба и Земли страдать от аллергии на чувственное, телесное, земное, от которого они и защищали Его герметически-идеалистической броней».

Разбираются, по ходу и по случаю, отдельные вопросы штейнерианства. Свасьян касается вопроса эгоизма (он хорош, отрицательными коннотациями его наделили — негативным и сделав), критики Штейнера Гартманом (величайшим умом века, по Штейнеру) и отношения последнего к христианству. «Основание, по которому Рудольф Штейнер не мог быть христианином, было тем же, по которому им не мог быть и Макс Штирнер или Фридрих Ницше или Генрик Ибсен. Говоря вульгарно, несоответствие масштабов. Невульгарно: отсутствие христианства, отвечавшего бы их духовному уровню» (на вопрос о любимом идеале Штейнер как-то ответил — «Вместо Бога свободный человек»)³. Если же формулировать не столь лапидарно и лозунгово, то «в философской традиции Запада, особенно в гуманистических её направлениях, в элементе начала мира стоит не человек, а Бог как последняя метафизическая инстанция», для Штейнера же, по словам Карла Баллмера, «в мышлении человек стоит в элементе начала мира, за которым искать что-либо другое, кроме самого — мыслителя — себя, для человека нет никаких оснований».

Или же вот такое наблюдение над одним из аспектов, позволяющих нам с гордостью припомнить достижения Фёдорова и космистов, которое выводит на то, что, на мой взгляд, и составляет главное идейное содержание книги: «Западная цивилизация, как теистическая, так и атеистическая, ни на чем другом не обнаружила свою несостоятельность более позорным образом, чем на своем отношении к умершим, которых она просто списывала со счетов, не имея ни малейшего понятия

о всей степени их абсолютного участия в ней самой. Ещё раз: физика не находила для них места в своем мире и перепоручала их теологии, которая, в свою очередь, просто избавлялась от них, прописывая их в курортах неба или вечных мерзлотах ада. Оба раза силою и полномочием собственных дефектов: отсутствием восприятий и нежеланием прислушаться к тому, у кого они есть. Неслыханность и небывалость штейнеровского оккультизма не имеет ничего общего с реанимацией старых и забытых традиций, от египетской “Книги Мёртвых” или тибетской “Бардо Тхёдол” до Theosophical Society. Это, ещё раз, просто продолженное и додуманное ДО КОНЦА естествознание». При том, что та же «Теософия» Штейнера «полностью стоит» на «нигилистическом естествознании», «только поверхностное и безответственное отношение к труду Штейнера способно рассматривать его в терминах традиционного оккультизма и не признавать его прямую связь с историей западной философии, которую он завершает» (эту радикальную мысль Свасьян обосновывает, возвращаясь к ней несколько раз).

По мысли автора, есть уникальный шанс-потенция у антропософии, то есть у самого человечества «в наше время, растянутое между двумя бешеными, тоталитарным и либеральным, на фоне государственно субсидируемого слабоумия, вновь брезжит надежда, что подпольный человек ответит на проливающийся свет не чаепитием, а осознанием и осмыслением причин провала, после чего провал заменится прорывом в поволненное будущее». Эта возможность зафиксирована Штейнером в его «Философии свободы»: «Природа делает из человека исключительно природное существо; общество — существо, поступающее сообразно законам; свободное существо может сделать из себя только он сам».

Этот шанс особенно остро (может быть) востребован, инспирирован же он оказывается тем, что западная (читай, мировая, ведь восточную философию не рассматривал толком никто и никогда — заигрывания с ней, от Блаватской до различных учений New Age, не в счет) оказалась в глубоком тупике. Карен Свасьян отмечает, что «почтенный тупик философского Запада, в который он попал, едва начав ходить, продолжает все ещё оставлять впечатление беговой площадки. Эта двух с половиной тысячелетняя Псевдо-София, противопоставившая миру мир через деление его на “внутренний” и “внешний” (“субъективный” и “объективный”), просто ничего не желает знать о своей смерти и оттого продолжает бесстыдно и бесцеремонно жить. <...> На язык так и просится грубый вопрос-попадание, почти каламбур: как содержание мира (Inhalt der Welt) соотносится с профессорским окладом (Gehalt eines Professors)?»

На фоне этой господствующей мыслительной парадигмы Штейнер оказывается «невозможен» — «либо это полное безумие, либо такова вся моя жизнь на фоне только что прочитанного». Штейнер не только «говорит о “погашенном сознании Христа” в последней трети XIX века, непосредственно предшествующей появлению “Философии свободы”», но и действительно работает в этой ситуации. Ситуации амбивалентной, ведь, с одной стороны, Бог объявлен умершим, сознание его погашенным, но человек, номинируемый то обезьяной, то сверхчеловеком, неистовствует в этом ценностном зазоре с различными формами замещающей традиционную (идеальную, по мысли автора) религию идеи: «Ничего удивительного, что на фоне этой сорвавшейся с цепи твари старый Бог теизма и не собирается сдавать позиции, уйдя в смерть у Ницше или на покой у Леона Блуа. Как раз наоборот, и если уметь видеть вещи не в их наименованиях, а по сути, то можно будет назвать конец XIX века временем неслыханного реванша и триумфа теизма, выступающего уже не в прежнем облике обанкротившегося богословия, а в новых и более успешных аватарах его талантливых, но слепых могильщиков: от естествознания, даже не замечающего, насколько его понятийный инвентарь списан со старых теологических шаблонов, до марксизма, материя которого просто скопирована с классических Сентенций Петра Ломбардского».

Ситуация оказывается на поверку даже макабричнее. Умер в ту эпоху (что уж, заметим, говорить про нашу) не только Бог, но и человек: «Но если потерянному Богу теологов можно было ещё заменить материей физиков или производственными отношениями обществоведов, то с найденным человеческим Я обстояло куда сложнее: человек был поставлен перед выбором между дарвинистской “обезьяной”

и марксистским “ансамблем общественных отношений”, а по существу и безальтернативно — перед смертью и концом себя как человека».

Да и осознать — не то что исправить — эту ситуацию, исходя из её же логики, было невозможно, ибо, по Штейнеру, «интеллект не предназначен для познания. Большое заблуждение думать, что интеллект служит познанию».

Именно в этой ситуации Штейнер своим (на)учением стремился вернуть человеку давно, гораздо раньше указанных кризисов, утраченную им истинную природу, наделить онтологической свободой и поставить, вознести его на место Бога. «Итак, господин над идеями, почитатель случая, хамелеон. Вот слова, которыми мы, антропософские дети, — в пику возвышенно поэтическим, пропарфюмированным фразам штеффеновской эры — воздаем учителю почтение, которое хочет быть нашим пониманием».

Понимания фигуры самого Штейнера лично у меня после этой книги прибавилось не слишком много — лишь примерный абрис воззрений на него автора очертился. Возможно, так и предполагалось: речь, скорее, о следующем, продвинутом шаге, о его (не)признании и его причинах, а уж досконально знать и любить/ненавидеть Штейнера читатель должен по определению и априори, ещё до этой книги, дефолтово даже.

Недвижный воин в неподвижных поездах

Джанфранко де ТУРРИС. Юлиус Эвола. Маг на войне / Пер. с ит. Е. Пудова. — СПб.: Владимир Даль, 2023. 1943—1945. 351 с.

Перед нами не полноценная биография, а настоящее расследование тех лет жизни Эволы, на которые нагнано, и им в том числе, больше всего камуфлирующего тумана. Впрочем, грех жаловаться, Эвола у нас переведен уже хорошо, а за жизнеописанием можно обратиться к его художественной автобиографии «Путь киновари»⁴. Да и книги о самом Эволе у нас выходили — монография Дмитрия Моисеева⁵ несколько лет назад и в прошлом году работа Александра Дугина, которая, хоть и собрана по большей части из статей прошлых лет, но определенно относится к одним из лучших и самых ясных представлений творческих и жизненных стратегий Эволы и является весомым вкладом в эволаистику, в нашей стране уж и подавно⁶. Так, в ней дан четкий, несмотря на всю страстность тона (разбор «Оседлать тигра» — это настоящая проза, если не поэзия), и подробный анализ всех основных книг Эволы, а также самая широкая картина контекста (от мыслителей, повлиявших на Эволу, до судьбы его переводов и рецепции в нашей стране, кроме того, что совсем не лишне⁷, зная встречающуюся известную путаницу, определены интенции традиционализма, правой мысли и даже таких современных явлений, как правый анархизм, конформный традиционализм и прочего). А Д. Моисеев снабдил и это издание предисловием.

Из которого мы почерпнем много необходимой для лучшего восприятия материала этой книги информации. Например, о том, что сам барон⁸ Эвола занимал отстраненно-аристократическую позицию — о себе говорил мало, слухи иногда опровергал, но целенаправленно с ними не сражался. Их же вокруг него крутилось, и крутится до сих пор, очень много. С ними сражается уже автор книги де Туррис, благо чего только Эволе не приписывали — вплоть до того, что в эти «тёмные» годы (своей биографии и мировой истории) он и сам состоял в СС, и занимался вербовкой в ряды нацистской армии. Тогда как Эвола нигде не состоял, не входил и не привлекался: «Он не подвергался преследованиям или “чисткам” и никогда не привлекался к ответственности в гражданских или уголовных процессах, связанных с его деятельностью во времена фашизма или Социальной республики» (де Туррис). Что, кстати, опять же вызывало подозрение и служило поводом для инсинуаций — дескать, такую позицию занимал и связи имел, что умудрился себя и после войны «отмазать», обелить и сокрыться. Тогда как, возвращаемся к предисловию Моисеева, «не будучи членом

фашистской партии и не занимая каких-либо административных должностей при режиме Муссолини, барон возобновил свои попытки оказания влияния на интеллектуальную атмосферу в Италии и Германии, однако этой работе был положен конец государственным переворотом 25 июля 1943 года — Муссолини был предан королем Виктором Эммануилом III и главой Палаты фасций и корпораций Дино Гранди, отстранен от должности премьер-министра и арестован». Эвола, если суммировать, лишь «принимал участие в обсуждении будущего Италии, оставаясь верным своим идеям, а именно — необходимости утверждения монархического, аристократического, традиционного порядка, сохранения Савойской династии». За это, кстати, его не жаловали сами нацисты, в своих отчетах — ложившихся для резолюции на стол самому Гимmlеру по его же запросу, — фашистские спецслужбы из СС подчеркивали этот аристократическо-монархический вектор, чуждость Эволы идеям национал-социализма и фашизма — похоже, писали они, что глубинный мотив «римского реакционера» — «восстание старого дворянства против современного мира»⁹, а «его политические проекты имеют утопический характер и могут привести к идеологическим осложнениям». Они рекомендовали, не подвергая прямым преследованиям (все же, как и Юнгер, Эвола был слишком заметной интеллектуальной фигурой), подвергнуть его своеобразному «теневому бану» (не давать доступ к лицам в правительстве Германии, более не приглашать). Гимmlер согласился и подмахнул своей подписью.

Но мы невольно перешли к темам самой книги, тогда как из предисловия можем узнать, насколько обоснованно это исследование. Джанфранко де Туррис был и есть человек, давно погруженный как в литературные процессы (издавал сначала, представляя в Италии этот чуждый тогда для нее жанр, фантастику, потом переключился на правую, традиционалистскую тематику¹⁰), так и, собственно, близкий к Эволе (общался с ним, издавал о нем книги, брал у него интервью, писал и рассказы, а в Фонде Юлиуса Эволы хранится даже коробка из-под сигар, которые Эвола и другие идеологи Италии раскурили после встречи с германской верхушкой в «Волчьем логове»). «В ежемесячнике “Правая” де Туррис в начале 1970-х вел обзорную колонку, в рамках которой опубликовал статьи о таких важнейших для этого направления мысли авторах, как Юлиус Эвола, Юкио Мисима, Луи-Фердинанд Селин, Мирча Элиаде». И, к слову, можно отметить, что в этой монографии так же будет представлен весь спектр важных для этого (и не только) круга мысли имен: Юнгер и Кодряну, Элиаде и Шуон, Генон, разумеется, а также исследователей Дугина, Седжвика и «исследовательницы» Ленъель-Лавастин¹¹ (де Туррис, кроме очевидной для всех предвзятости её изысканий, пишет и об известном случае плагиата).

Над этой книгой автор работал 18 лет, добавляя в каждое последующее издание все новые материалы. Архивные находки и стали поводом для книги — найденные документы, особенно переписка, позволили выяснить (совсем недавно, когда это все обнаружилось, в 2014 году) многое: имена, факты и детали.

Книга, если бы было желание придраться, вообще излишне детализирована. Если Эвола куда-то летит, то непременно дается детальный итинерарий, указывается даже модель самолета. Когда обсуждается тот факт, что за научные (аналитику, как сейчас бы сказали) изыскания при Министерстве культуры Эволе в конце не заплатили, то приводится зарплатная выписка всех его коллег. Всё расписано по датам и, когда возможно, вплоть до часа.

Но желания придраться нет. Не впадая ни в залихватские исторические реконструкции (каковых, мы знаем даже по отечественному книжному рынку, весьма много), ни в апологию, а будучи захваченным азартом детектива или гончей, автор извлекает из-под пыли времен и бомбежек то, за крашек чего ему довелось ухватиться. Речь же о тех годах, когда Эвола после краха Муссолини (тот хотел его привлечь, Эвола же стремился наставить его на путь правильных идей, в общем, тесного сотрудничества заведомо не могло сложиться) бежал из Италии, посещал Германию и жил в Вене, где выполнял, как он кратко сообщал в переписке близким друзьям, секретную миссию. Жил он в Вене под вымышленным именем (Карло де Бракоренса, автор выяснил

по больничным выпискам) и там же, в центре города, попал под бомбардировку, в результате чего несколько лет лечился и остался на всю жизнь парализован. Известно, как мы видим, мало, повода для измышлений — более чем достаточно.

И де Туррис работает именно с фактологической стороной, спасибо ему большое, в мифы если и заходит, то чтобы сокрушить их. Мифы же, повторим, просто роились — например, только о том самом ранении во время бомбардировки. Кто-то говорил, что Эвола хотел, как когда-то в ранней юности он писал Тцара¹² о подобных же намерениях, покончить с собой, если во время массированных налетов союзной авиации вышел на улицу¹³ (наоборот, это было логическим шагом, ибо дом, где он жил, был разрушен — Эвола писал, что утратил свои бумаги). Кто-то же, что травму он получил, участвуя в каких-то теургических церемониях, описанных в тех документах, которые к нему попали. Кстати, очень любопытное про документы: вроде бы Эволе передали те архивы, касающиеся деятельности масонов по всей Европе, что нацисты изъяли у евреев. И с этим очень любопытно и даже, возможно, близко к какой-то правде, потому что Юнгер раз обмолвился, что поступил большой архив специальных документов, для работы с которыми нужен не менее специальный человек... И здесь мы приближаемся к правде. Эволу действительно несколько раз выписывали. Нет, про лекции Гитлеру, его приближенным и верхушке Аненербе, как всегда любили писать, это выдумка. А вызывали его для такого брейнсторминга, как сейчас бы сказали, о том, как бы нацистам обустроить Италию после ареста (и вызволения из плена и привоза туда же) Муссолини. Да и там Эвола, как он сам писал, по большей части просидел «в неподвижных поездах» (стоящих на запасных путях, где их поселили), а его идеи отклика не нашли. Вторая же «командировка» была связана с тем, что, скорее всего, Эвола действительно работал с некими документами, имеющими отношение к тайным мистическим обществам Европы в целом и масонским в частности — как мы знаем, Рейх интересовали такие дела, даже фыркала тайная полиция, что спецслужбы заняты не поиском врагов и тем, чем спецслужбы обычно заняты, а всякой мистикой и шарлатанством. По имеющимся воспоминаниям сам Эвола рассказывал друзьям, что «здание, порученное ему СС в конце войны и прерванное знаменитым несчастным случаем, касалось работы по очищению и «возврату к истокам» масонских ритуалов, найденных во время войны немецкими войсками в различных европейских странах, добавив, что он не знает, почему СС были заинтересованы этим». И да, приходит к выводу автор, Эвола «в рамках этого контракта» тайком, под прикрытием, бежал из Италии, жил в Вене и был агентом. «При этом он, конечно, не был шпионом или информатором, продававшим информацию полиции и немецким секретным службам, как некоторые изображают», а СД, служба безопасности СС, «не проводила реальных шпионских операций в оккупированной части страны, а только собирала информацию». Эвола действовал так, как, в его понимании, и действовал бы в схожем положении кшатрий¹⁴.

Хотя, при всей стройности вывода автора, видится мне всё же здесь некоторая неоднозначность. Эвола действительно никогда не служил, не работал в итальянских или немецких фашистских структурах — но агентом всё же, скорее всего, был. С Гитлером виделся тогда, во время «неподвижных поездов», — но есть же ещё фотография, где весьма похожий профилем на Эволу человек присутствует вместе с Муссолини в ставке Гитлера сразу после известного покушения на того фон Штауффенберга. После войны его судили¹⁵, но Эвола — цитировавший в своей защитной речи Платона, — был оправдан. Скорее всего, это та общая противоречивость фигуры масштаба Эволы в те времена. Да и про связанность всего со всем в те годы забывать не стоит — так, уже поминавшийся Юнгер был в курсе покушения и вполне мог быть за это уничтожен, если бы старое прусское офицерство не спрятало его переводом с глаз долой, а цепочка, ведущая к нему, не прервалась из-за гибели подозреваемых. И, конечно, здесь можно долго говорить про интеллектуала и власть, самомифологизацию и общественное мифотворчество и на прочие довольно избитые темы.

Которые мало к чему приведут, в отличие от фактов. И гораздо больше в данном случае характеризует Эволю та, другая, гораздо более важная для него активность, в которую он был вовлечен в те годы. Где Эвола и сражался, так это на «тайном фронте правых», «который он пытался координировать после 1935 года в Европе». Речь, с большей или меньшей степенью приближения и всей возможной конкретики, о «закрытом круге эзотерического или полуэзотерического типа, основанного в столице Австрии в конце тридцатых годов самим Эволой и сыном Отмара Шпанна Рафаэлем». По мнению Чиантеры-Штутте, «его связи с такими людьми должны рассматриваться в рамках общего для этих кругов проекта формирования наднационального европейского правого крыла, задача которого — довести фашистскую “революцию” до конца и придать ей духовный смысл, что национал-социалисты прекрасно понимали и всячески этому препятствовали». Таким образом, «венский “другой круг” был политическим кругом консервативной революции». Но ранние надежды на фашизм быстро сменились полным в нем разочарованием: «Позднее Эвола критически переосмыслит фашизм как явление (“Фашизм. Очерк критического анализа справа”), расценив свои надежды на возможность его эволюции в традиционалистском ключе как неоправдавшиеся»¹⁶ (не могло не фраппировать Эволю и то, что фашизм практиковали вайшьи и шудры с соответствующими устремлениями-чаяниями).

Кроме этого генерального изыскания Джанфранко де Туррис предлагает и много небольших, но важных находок (как мы знаем, в «Пути киновари» Эволю такие мелочи и даже ретуширование собственной биографии, как, скажем, Юнгер при последующих переизданиях своих книг фашистского периода изымал из них относящееся к политической повестке тех лет, не волнуют, он там занят духовным становлением). В спектре от того, что кодовым именем философа после оккупации Рима союзниками было имя Мария, до того, что во время лечения сопряженных с ранением болезней у Эволы начинался туберкулез и он был на грани смерти. О чем Эвола писал в качестве журналиста (публикациями и лекциями он зарабатывал на жизнь), что при объявлении войны Италии хотел пойти воевать добровольцем¹⁷ и почему поддержал Республику Сало («Я не чувствую, что могу принять фашизм Сало как идеологию. Тем не менее я не мог не признать воинскую и легионерскую доблесть сотен тысяч итальянцев, которые решили сохранить верность своим союзникам и продолжать войну, осознавая, что они ведут заведомо проигранную битву, но стремясь защитить честь страны»). Также мы узнаем, что версию травмы Эволы из-за неудачных теургических мистерий поддерживал даже Элиаде, выпустивший после смерти Эволы роман «Девятнадцать роз» с весьма похожим на того персонажем.

Сам автор не то чтобы добавляет щепотку от себя в общее варево мифов («Разом все вокруг котла! Сыпьте скверну в глубь жерла!», как стряпали ведьмы в «Макбете»). Нет, он, скорее, мыслит, действует в своем письме в духе логики, практической метафизики самого Эволы, когда говорит о всех идейных перипетиях того ранения. Опять же про ту прогулку под бомбами по венскому Рингу — Эвола верил не только в то, что человек до рождения выбирает основные события собственной жизни, но и в экзистенциальное самоубийство, предполагающее перерождение в новую стадию, своеобразную реинкарнацию при жизни¹⁸. Паралич же, несмотря на долгое, изматывающее и самое разнообразное лечение, Эвола, как утверждают его преданные ученики, мог бы излечить сам усилием воли и магических потенций, вроде бы даже, кто-то видел, ему удавалось чуть двигать конечностями, но он выбрал не заниматься, не отвлекаться на это, потому что, как он писал, это совершенно не мешало его мыслительной активности и духовной работе¹⁹. Про «неподвижного воина»²⁰ же, как охарактеризовал Эволю его французский биограф Жан-Поль Липпи, говорили, что «то, что в нем, чтобы идти, не нуждается в ногах». «Парадоксально, но единственным стоящим вертикально остался тот, кто был прикован к инвалидному креслу. Судимый, затравленный, непризнанный, замалчиваемый, с расколотым надвое позвоночником»²¹.

Футбол с черепом в раю

Роман ГРАНИН. *Эмиль Чёран. Приближение к ускользящему философу*. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. 126 с.

Выход на русском первой книги о Чоране, самом изысканном и самом мрачном философе XX века, настоящем скальде одиночества, дегуманизации, крушения всех основ и того Апокалипсиса, к которому всё это неизбежно и безбожно приводит, — безусловное событие. Хотя бы и с оговорками. Парой мелких и одной крупной.

К мелким как раз относится это предложение очередной коррекции имени — к имеющимся Сиорану, Чорану и путанице в инициалах (как известно, рожденный Эмиль Мишель, уже живя во Франции, предпочитал указывать инициалы «пустые», без расшифровки, а к концу жизни подписываться и вовсе (без них) Сиораном, на манер Паскаля и Монтеня). Да, автор — себя, к слову (или к имени) обозначивший на обложке соответственно, Р.С.Гранин, — обосновывает это более точной передачей исходного румынского. Но у меня всегда возникает вопрос, как долго и насколько близко мы будем приближаться к исходнику, коверкая в угоду оригинальничающему переводчику (особенно это любит у нас М.Немцов) устоявшееся в русском произношение? Скажем, «Токио» будет произноситься как «Токё», с долготами соответственно? А китайский будем призывать передавать с тонами? Те же топонимы на общестрановом путунхуа или аутентичнее будет на диалекте данной провинции, отличающемся подчас, как другой язык? Или же, чем отращивать хипстерскую бороду всех этих лингвистических изощренностей, не лучше ли использовать бритву Оккама и не умножать сущности без надобности?

Сущности, впрочем, имеют склонность к неконтролируемому делению — но это ответственность автора. И вот, например, если нужно подчеркнуть беспочвенность Чорана, то уже в аннотации для этого используется неограниченный синонимический ряд: «Статус вечного апатрида, интеллектуального маргинала, метафизического номада, метэка, маррана Чоран носил осознанно и гордо, как аристократический титул, что наилучшим образом отражает его личность и способ мышления». Или — понятно, конечно, что объем книги не может быть минимальным, как афоризм, а в общем-то бессобытийная, в письме и мысли, жизнь Чорана этому никак не способствует — эти бесконечные подробности и экскурсы в историю примерно до образования Земли, если не Вселенной, когда речь идет о тех дальних местах румынской провинции, где родился и учился Чоран. Что именно для понимания Чорана нам добавляют сведения о том, что в Сибиу, где Чоран ходил в школу, «в 1292 году была построена больница, в 1330 году основана библиотека», а в XIV веке «насчитывалось двадцать пять ремесленных гильдий» и вся прочая информация из разряда путеводителя по мотивам Википедии? Сведения о том, с какой горки каталась малышня в родных краях Чорана, впрочем, милы и не лишены ностальгического флера. Ведь, как и все творцы, которым не дали созидать этот мир по собственным эстетическим лекалам и которые ненавидели предлагаемый без выбора набор из готового платья, Чоран, как и тот же Набоков, свою мизантропию и отвращение к окружающей действительности подкреплял отсылкой к райскому в полной мере детству и живым описанием изгнания из рая. Чоран скучал в Париже по снегу, веселил собеседников рассказами о почти Гамлетовском футболе с черепом (дом его отца, православного священника, выходил на кладбище, и местный служка давал детям старые черепа для доступного развлечения) и «вспоминал место своего рождения как место бесславного исторического начала, как рай, испорченный историей» (время *versus* вечность, тоже давняя, древняя даже тема).

К увеличению «пухлости» издания, в духе знакомого каждому нерадивому студенту метода, относится и целая пригоршня аппендиксов в конце книги — «В заключение», библиография и целых четыре приложения (список всех диссертаций о Чоране, его высказываний о России и прочая).

Всё это, разумеется, мелкие придирки, которые, как известно, не засчитываются, а вот что касается общего вопроса к тексту — здесь не совсем ясно, к кому его, собственно, адресовать? Потому что книга по большей части основана на единственной на данный момент более или менее полной (великим объемом не отличается и она, но это опять же претензии к самому Чорану) англоязычной биографии Чорана авторства американской исследовательницы румынского происхождения Илинки Зафироволь-Джонстон²² *Searching for Cioran*. Нет, автор проштудировал, кажется, всё то довольно небольшое, что доступно, был честен (сноски на эту биографию на каждой странице и не в единственном числе). Однако, скажем, страницы о медленном угасании Чорана от Альцгеймера в парижской геронтологической клинике, когда он уже не узнавал собственных книг, но, в моменты просветления, признавал, что они недурственно написаны, его зеленые глаза ещё сияли на старом лице, как и прочие не очень обязательные для публичной трансляции детали вроде того, что его ноги опухли, кожа шелушилась, а сам он становился иногда тяжел для персонала и близких, — всё это от румыно-американского биографа, посещавшего с гражданской женой мыслителя Симоной Буэ его в те дни и оставившей эти свидетельства. Но что делать, если эпистолярный и дневники Чорана, в том числе из-за проблем с правами, до сих пор в полной мере не изданы, а после переезда во Францию вся событийность его жизни резко заканчивается, ограничиваясь письмом дома и прогулками по любимым кварталам с походами в гости и поездками, в поздние более благополучные годы, на каникулы на французские курорты? Дело, повторю, совершенно естественное, скажем, и я, когда писал о Чоране²³, держал эту книгу очень близко на столе.

Да и чем не повод вспомнить или узнать яркие факты из жизни Чорана? Что, например, название его книги «На вершинах отчаяния» — не пафосно-романтично-вычурный образ самого Чорана, а его почти что постмодернистская ирония, ведь так звучал неизменный зачин газетных объявлений о самоубийствах в то время. Или что во время своей неучёбы — получив стипендию в Сорбонне, Чоран и не думал ходить на занятия и заниматься диссертацией, а путешествовал по Англии и объехал всю Францию на велосипеде — тот читал (Ницше, Зиммеля и Клагеса), что пользовался от нужды бесплатной студенческой столовой ещё добрых лет десять, пока ещё как-то мог сходить за студента, и выкуривал по три пачки в день. Или — тоже известно, но разговора, как добрый анекдот, не испортит — как сложилась рабочая карьера Чорана. На дипломатическом поприще Чоран продержался несколько месяцев. А вот в школе преподавал философию «по распределению» год — и вспоминал потом этот год как страшный сон в аду. В класс являлся настоящим дэнди и знаменитостью (его статьи тогда уже гремели по Румынии), вел себя, как тот же Розанов-учитель, экстравагантно (входя в класс и снимая шляпу, стучал ею по столу со словами «вот это и есть вся наша история, в двух словах!»), учениками был любим и уважаем, а с преподавательским составом сложнее: свою вышедшую книгу Чоран вручил с дарственной надписью привратнику, коллег-учителей обделил и, когда, наконец, уволился, директор школы на радостях напился.

Впрочем, все эти факты и фактоиды хороши не просто сами по себе, но и тем, что, при внимательном взгляде, складываются в определенную картину, помогают подсветить некоторые грани личности Чорана, этапы его становления. Например, Чоран рос в среде, как сейчас бы сказали, *upper-middle* класса, его отец был не просто священником (это и было тогда почти единственной для амбициозного румына профессией), но небедным человеком, уважаемым, общественным деятелем. С его образованием и зашкаливающими способностями перед Чораном открывалась блестящая карьера — как перед тем же Мисимой после его привилегированной школы, Токийского университета и службы в Министерстве финансов, на которой он продержался восемь месяцев. Чоран же начал бунтовать — совсем как Джим Моррисон в семье отца-адмирала — отказывался присоединиться к общей молитве за столом, начал пить с приятелями-студентами, посещать бордель, чуть ли не намеренно искал декадентскую и модную болезнь сифилис...

Или то, как после переезда во Францию Чоран, так сказать, долго учился, накапливался, готовил свое (триумфальное в итоге) покорение вершин французской литературы и мысли. Начитывался, путешествовал, шлифовал язык, переписывал свою книгу и даже, знаменательная сцена, с Сартром и де Бовуар проводил часы в их любимом кафе, но молчал, слушал, подносил Симоне спичку прикурить и галантно кланялся...

Получив же за свою первую французскую книгу премию, всем всё (честолюбиво-гордые письма близким домой в Румынию) доказав, от всех последующих премий и литературных призов последовательно отказывался. Имидж создан, он будет в таком векторе, теперь — только в отказ.

Или вот то, кем Чоран мог бы стать в пределе своего развития — тем мистиком, которые в их средневековом воплощении его очаровывали и были любимым чтением, а в современных воплощениях раздражали даже (сложные отношения с третьей уже Симоной на наш текст, Вейль). Центральной фигурой ещё «Слѣз и святых», пишет Гранин, «является несостоявшийся мистик Чѣран, который не смог отбросить временные связи: “Секрет успешного мистицизма в победе над временем и индивидуацией”»²⁴ (опять тема времени и вечности!). «Голос утратившего веру мистика вводит в традиционный жанр житий новую перспективу — отчаяние — и тем самым придает мистическому опыту новый акцент».

Или же, переходя уже к сумме теологий, восстаний, еретичества и мистицизма, можно обрисовать вслед за автором общий вектор Чорана — великого ускользающего, как в песне Марка Болана *The Slider*. «Введение этого синтетического понятия потребовалось для объединения двух смысловых пластов: первый — “частный мыслитель” — это способ философствования, восходящий ещё к Кьеркегору (далее к Ницше, Шопенгауэру, Розанову, Шестову и другим); второй — отражает номадический характер судьбы мыслителя. Номад, метэк, марран, апатрид, интеллектуальный маргинал, свой внутренний подпольщик, языковой мигрант — всё это говорилось в адрес Чѣрана. Частный мыслитель в отличие от интеллектуала-философа не интересуется актуальными трендами, не входит в академическую среду, а пишет для себя, следуя скорее своей “внутренней музыке”, чем повестке дня. Форма письма при этом — фрагмент. Фрагментарное письмо лирично, афористично и эссеистично, это обрывки смысла без начала и конца. Его отличают парадоксальность, абсурдность, ирония, гротеск. Автор пишет от лица литературного аватара, своего альтер эго, которое отличает глубокая лиричность, интимность, субъективность, что не обязательно совпадает с позицией автора...» Учтем тут, разумеется, и совокупность других побегов и отказов Чорана — из своего социального класса, семьи, языка, почвы (*Blut und Boden* — во времена увлечения Чораном фашистским движением Легиона архангела Михаила в целом и Корнелиу Зеля Кодряну в частности в Румынии весьма актуальный концепт для его публицистики и книг!), религии, страны, признания уже в другой стране. Всё это, конечно, через отрицание образует очень оригинальное конструирование своей сути, своего голоса вопреки истории, судьбе, самому себе и такой внутренней данности и исконности, как язык. Только отказавшись от всего этого, смог Чоран утвердить самого себя.

Третий человек над бездной

Армин МОЛЕР. Против либералов / Пер. с нем. Г.Сипливого, научная редакция и примечания Ф.Фомичёва; под общей редакцией Д.Житенёва, А.Цыганковой. — М.: *Silene Noctiflora*²⁵, 2024. 160 с.

Армин Молер благодаря своей долгой жизни (1920—2003) и неумемной подчас активности и любознательности, страстности даже к этой самой жизни и представлениям об её устройстве успел отметить во множестве идеологических контекстов прошлого века, не говоря уже о более точечных пересечениях с другими персонажами нашей

подборки. Так, в книге упоминается вальдорфско-штейнеровская педагогика, в парижском доме Молера бывал Чоран, а самого Молера я бы наравне с Аленом де Бенуа (они и были знакомы) вольно отнес к той условной третьей волне традиционализма (если считать первой Генона, а второй Эволу), что отчасти повторяла и формулировала для новой публики и новых обстоятельств идеи отцов-основателей. В несколько редуцированном, упрощенном — коррекция на время? — виде.

«Ветераном правоконсервативной сцены» представляет этого швейцарско-немецкого публициста и историка и аннотация. А эпитафия — один из, впрочем, — из Артура Мёллера ван ден Брука о том, что «либерализм — могильщик народов», настраивает на общий, и довольно боевой, лад.

«Редкое сочетание хаотической энергичности и сетцентрического мышления, многосторонней эрудиции и разноплановой компетентности, коммуникативных навыков на разных уровнях, бескомпромиссной убежденности в некоторых вопросах и вместе с тем абсолютной открытости к новому — совокупность этих противоречивых черт и составляет хорошо узнаваемый портрет», характеризует Молера в своем подробном портрете-послесловии Ф.Фомичёв отчасти в стилистике продвижения резюме успешного кандидата (не хватает ещё о стрессоустойчивости — но в тексте говорится и о том, что Молер успел поругаться со всеми и успешно грести по расходящимся медийным волнам).

Будущий автор статьи «Фашизм как стиль» и обобщающей работы «Консервативная революция в Германии в 1918—1932» (да и самого концепта, формулировки явления), возникшей из диссертации, которую он защитил под руководством Карла Ясперса, родился в Базеле. Увлеченно читая Ницше во всё практически время своей жизни («с ранних лет я, находясь под сильным влиянием школы Ницше-Шпенглера-Юнгеров...», как сказано в эссе «Об агональном начале»), он тем не менее увлекся «левым искусством» в Базеле, отличавшемся прогрессивными взглядами. Как вспоминал, «это была вовсе не лишенная искусности смесь из марксизма, психоанализа, абстрактной живописи, атональной музыки, архитектуры Баухауса и русских фильмов, покрытая сахарной глазурью либерального пафоса». Увлечение новомодным авангардом свойственно тем, кто хочет изменить мир, и быстро проходит, не удовлетворяя их своей поверхностной анемичностью? Во всяком случае, увлечение абстрактной живописью было не столь последовательным, как у Эволы, и прошло довольно быстро. На смену этому, как наркоманы мигрируют от легких наркотиков к более тяжелым веществам, пришел интерес к более серьезным субстанциям, примордиальным элементам — Молер в пандан к Ницше и Шопенгауэру начал зачитываться трудами Мёллера ван ден Брука и Шпенглера, Никиша и Юнгера. Под влиянием нового круга чтения и немецкой пропаганды он ощутил пробуждение собственной «немецкости» и решил лично помочь немецкому народу в его начинающейся борьбе, и в 1942 году, в 21-летнем возрасте, пересек границу рейха. В войска СС он не вступил (а добровольцы из Швейцарии могли записаться только в них), вообще довольно быстро разочаровался в подноготной красивых было внешне идей и использовал свое время в Германии для сбора материалов для интересовавшей его темы по той самой консервативной революции. За что после возвращения Молера в Швейцарию его ждал суд, как Эволу после войны, и необходимость защищаться от обвинения в дезертирстве. После войны же Молер был вовлечен — хотя чем он только не занимался с его-то прометеевским энтузиазмом! — в одну любопытную деятельность: он на деньги изобретателя LSD Альберта Хофмана (!) помогал тем консервативным писателям, кто попал в опалу у новых властей: братьям Юнгерам²⁶, Карлу Шмитту, Готфриду Бенну и Фридриху Хильшеру.

Непосредственно с «идолом» (у Молера, как и у Юнгера, были такие эпитеты-обозначения важных для них людей) Юнгером Молера свело его стремление общаться с кумиром, вылившееся в одну из его активностей — несколько лет он проработал его секретарем, пока личные мотивы и непонимания не результировали в разрыв на грани ссоры. Схожим разрывом, заметим, закончилось и общение с «учителем» Шмиттом. Хотя от общения Молер брал много, использовал потом так или иначе.

Затем последовали долгие годы журналистской и научной работы. Во время жизни во Франции Молер, этот мятущийся дух, увлекался темой кельтов — и опять же довольно быстро её оставил (собрав, впрочем, со свойственной ему исследовательской занудностью большую библиотеку материалов). Одной теоретической деятельности Молеру, однако, было мало, и он пытался влиять на политику Германии, повернуть (вернуть?) её на консервативные рельсы и более непосредственно. Он то возглавлял think tank того времени (влиятельный Фонд Карла Фридриха фон Сименса), то через знакомых политиков пытался воздействовать на процессы в стране. Безрезультатно.

И продолжал писать о проблемах консервативного слова и дела. То отходя от них, то возвращаясь, оценивая и переоценивая. Например, один из этапов радикализации его взглядов был обусловлен знакомством с книгами израильского историка и исследователя правого радикализма Зеэва Штернхеля, по мнению которого «суть фашизма не объясняется одними лишь внешними — социальными и политическими — причинами, как и не может быть редуцирована и сведена к реакции на большевистскую угрозу и кризис либеральной демократии. Фашизм восходит к романтизму, идеализму и историцизму, к революционно-аристократическому пафосу Ницше и отходу от прогрессистских утопий просвещенного Модерна», как суммирует в своем послесловии Фомичёв. Не столько отход от консервативных идей, сколько их критику знаменовал выход статьи Молера «Консервативный 1962», в которой он противопоставил жестко им критикуемым всем имеющимся консервативным течениям и проектам («консерватизм садовника») и выступил с идеей витально-агонального консерватизма, что призван был нести в себе некий «дикий, опасный и иррациональный заряд». Гальванизация трупа не состоялась, но камень в болото он запустил большой — в полемику вокруг статьи включились буквально все причастные и не очень.

На смену разочаровывающему консерватизму чуть было не пришло увлечение постмодернистскими философскими учениями. «Молер во многом ошибался, но делал всё с таким динамизмом, что это вновь и вновь становилось интересным», как писал издатель новых правых Гётц Кубичек. И на смену подобным пагубным увлечениям приходили книги Сореля и публичный спор с Фукуямой, а бой с «врагом № 1» — либерализмом — не затихал. Молер вставал из окопа, бросался в атаку на хорошо защищенные редуты противника практически с голыми руками и звал за собой²⁷: «За последний десяток лет жизни Молер успел поконфликтовать, кажется, со всеми, с кем не повздорил раньше. Он все жестче требовал бескомпромиссности и категоричности от считающих себя “правыми”, более не принимал аккуратных шагов, объяснимых тактическими соображениями или стратегическим планированием, называл любую осторожность в публичном пространстве “рабским языком”, а всех такой “язык” использующих упрекал в том, что для них “чистота совести важнее отечества”».

В эссе из его поздней работы «Против либералов» (1990 г.) окопная и позиционная война продолжается и, что самое интересное, аналогий с буквально нашими днями здесь обнаруживается уйма. Видимо, противостояние разумных людей и оголтелых либералов — это такая же константа, как бытийная борьба добра со злом.

Кстати, сами либералы, в духе многих своих риторических подтасовок, любят довод, что выступающие против них тем самым сражаются с тем, что они олицетворяют — демократией, свободой взглядов и прочим светлым. Якобы олицетворяют, что знает каждый, кто хоть раз столкнулся с либеральной цензурой, шельмованием, травлей, культурой отмены и прочими проявлениями совершенно тоталитарного по своему складу ума. Молер констатировал это ещё в свое время — «лучшее, что вы можете сказать на это: “Именно потому, что я выступаю за свободу, я против либералов”». Воистину не изменилось ровным счетом ничего! Как и то, например, что даже «при особых обстоятельствах я ещё могу найти общий язык с человеком левых взглядов, поскольку зачастую левые могут сказать о себе хотя бы часть правды — но вот с либералами никакого взаимопонимания быть не может». Да со всеми умными и открытыми людьми можно найти общее, обрести взаимопонимание и солидарность, кроме либералов (за крайне редким исключением, тут человек должен быть или очень умен, или играть в либерализм, не скрывая, что он нужен ему для приобретения

каких-либо выгод из обширного списка сопутствующего финансового и(ли) символического капитала, или же под гнетом тусовки-повестки).

Что же Молер вменяет им в вину? «Чего я не могу простить либералам, так это того, что они создали общество, в котором человек оценивается по тому, что он говорит (или пишет), а не по тому, что он собой представляет», ведь «достаточно устно заявить о своей поддержке этого каталога желаний — и вот ты уже принадлежишь к нему, даже если делаешь всё ему наперекор». Позиция не только весьма удобная, но и обязательная (в либеральном мире же нет и намёка на возможность другого, отличного от него мнения) к исполнению. И вот уже «в сегодняшнем мире либеральны все, и даже племенной вождь пытается заявить о себе с помощью либеральных лозунгов».

В чем самая ирония, всего этого они смогли достичь только благодаря мягкости и интеллигентной терпимости традиционного общества! «Если говорить прямо: шесть консервативных веков позволяют двум поколениям быть либеральными, не навлекая при этом на себя беды». Самим же либеральным кругам менее всего свойственна рефлексивная самокритика: «Как может человек, постоянно находящийся в плену своей ограниченности, несовершенства и конечности, вообще прийти к идее, что он способен охватить своим разумом весь путь развития мира во всём его разнообразии?» И если Молер говорит о глобальных вещах, то либеральный мир вспоминает о разнообразии (модное *diversity* вокистов), только когда это нужно ему для продвижения собственной повестки.

Либералы вообще предпочитают не видеть многих очевидных вещей. «Представление об автономном “индивиде”, столь дорогое сердцу либералов, — худшее из всех абстракций», ведь они предпочитают игнорировать тот факт, что «каждый человек является частью жизненного контекста». Всё это оказывается «заменено уходом в мир в высшей степени материальных гарантий», ведь если «на первом плане все ещё культивируется старый пафос свободы», то «подспудно под лозунгом “безопасность превыше свободы” строится совершенно другой порядок». За свидетельствами тотального ограничения свободы даже не обязательно смотреть в окно или монитор, они — антиковидные, антитеррористические, антикриминальные меры и прочая борьба со всем плохим во имя всего хорошего — уже в нашей жизни и практически в нас (ведь чипы как венец биометрии совсем не за горами). «Под этим подразумевается общество потребления со значительно сниженным уровнем благосостояния, регулирование которого осуществляется с помощью игры групп интересов. В таком обществе, страдающем от упадка жизненных сил, различные виды мафии, словно пиявки, призваны оживить кровообращение». Как поражался Александр Шмеман, «в сущности, “Запад” страшен. Страшен своим фарисейством, своим отождествлением свободы с наживой», и «удивительная вещь: “прогресс” создал, так сказать, единый мир и, одновременно, маленького человека, лишённого мировой перспективы. Против *global needs* человечество защищается уходом во всё “маленькое”, но совсем не в то раскаяние и самоограничение...»²⁸ Да, всего лишь «дисциплинарный санаторий» (одноименный трактат Лимонова) или «мягкий концлагерь» (Дугин, «В пространстве великих снов»), у зверя множество имен.

(Ещё скотный двор или птицеферма с курами-несушками и крупным рогатым скотом, которым ставят хорошую музыку для лучших удоев и качества мяса. Это же традиционалисты считают, что «в конечном итоге человек не вынесет роль птицы, механистично несущей яйца на индустриализованной ферме. Он вырвется в свободный полет — поднявшись ввысь или рухнув вниз», — но их никто не слушает.)

И вот здесь — с либералами, в конце концов, всем всё понятно — интереснее с мафией. Мафия, такой непроявленный официальный актер в собственных интересах, характеризует, по мысли Молера, современное устройство западного мира. Для восточного (Россия, Китай) мира он предлагает — не шибко оригинально, но уж как есть, — концепт ГУЛАГа. Оба два, как говорится, хороши, тем более что — то, что контролирует простых людей под красивыми лозунгами, — оказываются весьма сближенными и синонимичными почти. «О том, насколько сблизились либеральный

Запад и Россия, можно судить по тому, с каким воодушевлением русские поклонники перестройки подхватили те характерные для «общества вседозволенности» безумные идеи». Либералы, собственно, и подхватили, да и весь мир, как указывал Молер, ныне либерален насквозь и повсеместно, зон безопасности не осталось (разве что где-то в совсем патриархальных уголках, куда ещё не дотянулись руки капитала и ноги туристов).

Еще интереснее и принципиальнее с тем рецептом, к которому приходит Молер. И не только он один, к слову, ибо в условиях, когда и правое, охранительное движение приобрело довольно уродливые и далекие от изначального идеала формы (во многом под воздействием либеральной системы, дискредитирующей и зачищающей всех возможных противников и просто оппонентов, но и, будем объективны, благодаря имманентным негативным тенденциям), мысль о третьей силе неизбежно посещает тех, кто беспокоится о несущемся к чертям в бездну апокалипсиса мире.

Молер так и говорит о «третьем пути» (к которому можно приблизиться, оказавшись «в особо парящем состоянии», в котором след быть «по-серьезному несерьезным» — здесь, кажется, допустима отсылка к юродству и трикстерству завсегдаеав Южинского переулка) и «типе третьего человека», который «полагает, что есть и другой путь».

И он даже описывает этот тип — здесь уже очевидна отсылка к уже совершившим или ещё только вставшим на юнгеровский путь «Ухода в Лес». Этих людей отличает очень трезвое и стоическое отношение к жизни. «Больше всего в этих людях меня поражала скептическая жизнеуверенность, которая, как правило, шла рука об руку с решительным умением жить. Это абсолютное принятие “мира как он есть”, без восторгов и лишних иллюзий. Страдания, несчастья и человеческие слабости были для них само собой разумеющимися. Что самое характерное, эта жизнеуверенность была совершенно безмолвна». «Эти странные люди — странные для меня в моем тогдашнем душевном состоянии — к счастью, не были светскими святыми. <...> Они словно стояли над бездной и храбро смотрели в самое сердце ужаса». Сама невозможность приравнять их «к существующим группам, будь то консерваторы, правые, язычники или кто бы то ни было еще» сподабливала, одаривала их своеобразным светским стоицизмом. Стоицизмом в современном мире, которому жизненно необходимо придумать и выработать альтернативу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Существенное распространение имеет и более соответствующее оригиналу написание Штайнер. Однако, кроме традиции (не произносим же мы Ляйбниц и Хайнрих Хайне), следует иметь в виду и то, что Штейнер — австриец, а в австрийском произношении *ei* звучит не так отчетливо, как в собственно немецком, посему есть свидетельства, что Штейнер сам представлялся как Штейнер, а не Штайнер.

² С тем, что Штейнера крайне вряд ли можно назвать архиактуальным для наших широт и эпох автором, спорить я, конечно, не буду. Но вот, например, что в Москве и других крупных городах действуют вальдорфские школы, где детей обучают по методу педагога Штейнера, помнить было бы не лишним, мне кажется. Да и, признается автор, в проблемах рецепции антропософии виноваты далеко не в последнюю очередь и сами антропософы: «История антропософского движения есть история антропософских детских болезней, диагноз которых сегодня столь же неизменен, как и вчера, и который пребудет актуальным ровно столько же времени, сколько понадобится для того, чтобы молодые, как и пожилые, антропософы переболели наконец названными болезнями и вышли из своего пубертатного возраста».

³ Но «всё не так однозначно», как сейчас говорят. «Обретший же искупление, имеющий действительное отношение к Христу человеческий разум, — такой разум вступает в духовный мир. Проникнуть в духовный мир в этом смысле — это и есть христианство сегодняшней эпохи. И это столь мощное христианство, что оно пронизывает до внутреннейших фибр то, что является человечеством». Штейнер Р. Философия Фомы Аквинского // Штейнер Р. Искупление разума: от спиритуальной философии и новейшего естествознания к современной науке о духе / Пер. с нем. А.Лейбина, А.Конвиссера и Г.Фресмайер. — СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 49.

⁴ См.: *Чанцев А.* Присутствия при крушении мира // Книжная ярмарка ДК им. Крупской (<https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/retsensii/prisutstvuyaya-pri-krushenii-mira.html>).

⁵ *Моисеев Д.* Политическая доктрина Юлиуса Эвола в контексте «консервативной революции» в Германии. Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2021. См. о книге в предыдущем выпуске нашей рубрики (№ 6, 2021) «Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико: дадаизм, импрессионизм и традиционализм» (<https://magazines.gorky.media/druzhba/2021/6/pero-di-kozimo-sobrat-de-kiyiko-dadaizm-impresionizm-i-tradicionalizm.html>).

⁶ И не только в нашей. Автор пишет, что в своем докладе, сделанном в 1994 году в Риме на чествовании двадцатилетия со дня смерти Эвола, «суммировал доктринальные пункты теории Юлиуса Эвола, требующие пересмотра. Это было встречено массовым недоумением эволаистов, многие из которых знали Эволю лично. Но постепенно идеи, изложенные в этом докладе, были усвоены, и в новых изданиях книг Эвола (в частности, с предисловием профессора Джорджо Галли) ссылки на этот доклад фигурируют как “взгляд на Эволю слева”». *Дугин А.* Юлиус Эвола: политический традиционализм. — СПб.: Владимир Даль, 2024. С. 201.

⁷ В ситуации, когда и раньше существовавшие размытость и миграция позиций усилились, некоторые тенденции приносят подчас парадоксальные констелляции и общий морок тяжек, четкие определения и установки особенно необходимы. Так, традиционализм Эвола, «эта совершенно оригинальная и в каком-то смысле антифашистская идеология была ошибочно квалифицирована как атипичный маргинальный фашизм», а «“правые” ценности, которые должны были бы быть близки традиционалистам, стали отождествляться с капитализмом или интересами государственной бюрократии, а среди “левых” ценностей, которые должны были бы быть, напротив, совершенно чужды традиционалистам, появились мотивы справедливой, верной и глубокой критики современной антитрадиционной цивилизации. Таким образом, пропорции между “правым” и “левым” были смещены и размыты. Кроме того, “подрывные” силы контррелигиозии, той таинственной организации, которая, по мнению традиционалистов, управляет негативными процессами в цивилизации, старается путем интеллектуального, финансового и пропагандистского контроля поставить себе на службу самые разные концепции, исказив их изначальный смысл в соответствии со своими надобностями. Поэтому Эвола в конце концов пришел к убеждению, что единственным критерием подлинности для человека, стремящегося противостоять современному миру, остается качество внутренней обособленности, дифференцированности, а также органическое неприятие всех ценностей актуальной цивилизации, всех её мифов и лозунгов, всех её псевдосвятых и псевдозаконов». *Дугин А.* Там же. С. 295, 242—243. Как тут не вспомнить цитату-девиз из Юнгера о том, что и на самых дальних и забытых рубежах свой часовой? Или скорбное рассуждение Александра Шмемана: «И вот выбор: ужасная “правая” и ещё более ужасная “левая”. С тем же, в сущности, абсолютным презрением к человеку и жизни. И нет, до ужаса нет — “третьей идеи”, которая должна была бы быть христианской. Но христиане сами разделились на “правых” и “левых”, никакой своей идеи они уже не чувствуют!» *Шмеман А.* Дневники, 1973—1983. М.: Русский путь, 2021. С. 113.

⁸ На самом деле Эвола никаким бароном не был, а происходил из семьи служащих. Этот «титул» родился из его дадаистской выходки. Затем он не опровергал его, но и нигде так не подписывался. Однако «барон» пустил столь глубокие корни в общественном сознании, что выкорчевать его оттуда невозможно, да и вряд ли стоит. См.: https://www.academia.edu/44163709/Julius_Evola_Was_He_a_Baron_or_Not_English

⁹ Рапорт практически повторял название одной из самых известных работ Эвола — «Восстание против современного мира». Что же касается идей Эвола по возрождению старой кастовой, иерархической, вертикальной системы организации общества, то эта интенция не в последнюю очередь была мотивирована тем, что на дворе была «эпоха бунтующих рабов, сменившая эпоху высокого “послушания” свободных людей». *Шмеман А.* Там же. С. 180.

¹⁰ Симптоматично отчасти — для этого самого современного мира идеалистическая доктрина примордиальной традиции едва ли не фантастичнее самой фантастики (из той хотя бы заимствовали роботов, искусственный разум и рапидное стремление к концу света).

¹¹ См. разбор книги: *Чанцев А.* Побег из отеля будущего в униформе тюремщика // Новый мир. 2008. № 6 (https://magazines.gorky.media/novy_mi/2008/6/pobeg-v-otel-budushhee-v-uniforme-tyuremshhika.html).

¹² Такой корреспондент не должен удивлять, ведь мы же помним о раннем увлечении Эвола радикальным дадаизмом, который олицетворял для него возможность аннигиляции установок этого мира. Эвола писал дадаистские стихи, поэмы, рисовал, его работы до сих пор выставлены в Галерее современного искусства в Риме в зале, отведённом дадаизму. Дугин свидетельствует, что и у пожилого Эвола загорались глаза при воспоминаниях о делах давно минувших дадаистских лет. На русском доступна книга, посвященная этим годам, работам и их проблематике: *Эвола Ю.* Абстрактное искусство. DADA. — М.: Евразийское движение, 2012 (<http://books.4pt.su/sites/default/files/pdf/evola-arte.pdf>).

¹³ Так же невозмутимо прогуливался под бомбардировками в Париже ещё один исполнитель консервативной революции Юнгер. «Бытие-без-укрытия-в-максимальном-риске» (Schutzlossein-im-wagende-Wagnis) Хайдеггера было свойственно всем, разглядевшим свою миссию в надимманентном?

¹⁴ «Эвола воплощает в себе именно кшатрийский воинский дух. Там, где у Генона констатация, у Эволы — призыв, где у Генона утверждение, у Эволы — прямое политическое действие, у Генона разоблачение, у Эволы — идейная и физическая битва». *Дугин А.* Там же. С. 4.

¹⁵ За «реабилитацию» фашизма уже после войны, попытку его «реставрации» и причастность (по версии следствия) к террористическим группам FAR в 1949—1951 гг. Обвинители называли его «идейным наставником террористов». Суд присяжных вынес оправдательный приговор.

¹⁶ Там же. С. 27.

¹⁷ В просьбе было отказано, так как он не был членом Национальной фашистской партии.

¹⁸ «Быть “благородным”, “арием”, значит быть “дважды рожденным” (двиджа) — один раз рожденным в теле, а второй раз — в духе, на новом уровне, то есть на территории онтологии, отделенной от материи». *Дугин А.* Там же. С. 51.

¹⁹ Как писал Эвола в «Пути киновари», «импульс к трансценденции порождает чувство отстраненности от реальности и чуждости ей, а в юности даже стремление к уклонению или освобождению, не свободное от мистических недостатков. Предрасположенность кшатрия, напротив, привела меня к действию, свободному утверждению возможностей, сосредоточенных на эго. Возможно, примирение этих двух тенденций было фундаментальной экзистенциальной задачей моей жизни. Выполнить её, а также избежать краха стало возможным в тот момент, когда я стал воспринимать сущность обоих импульсов на более высоком уровне». Легко допустить, что свою обездвиженность Эвола воспринимал в подобном ключе (хотя, приводит автор свидетельства, в самые тяжелые дни лечения травмы и сопутствующих заболеваний Эвола был беспокоен, доставлял хлопоты как врачам, так и другим пациентам).

²⁰ «То, что считалось “неподвижным”, оказывается насыщенным головокружительной жизнью. Другие — это те, кто не устоял, упал, потеряв центр. Становленчество, историцизм, эволюционизм и т.п. — всё это своего рода наркотики, которыми опьяняют себя жертвы кораблекрушения, это истины, пригодные для убегающего (ou fuyez-vous en avant, imbeciles? Бернанос), для того, что лишено внутренней прочности и пренебрегает как всем, что ею обладает, так и источником всякого истинного возвышения и подлинного завоевания — тех завоеваний, которые не ограничиваются чисто духовными достижениями, нередко незримыми и неосязаемыми для окружающих, но находят своё выражение в событиях, в эпопеях, в циклах цивилизации, даже редкие немые каменные останки которой таят в себе нечто над-временное и вечное. Здесь же можно вспомнить и некоторые традиционные произведения искусства, монолитные, суровые и излучающие силу, чуждые всякому субъективизму, нередко носящие анонимный характер, в которых как бы продлевают себя сами стихийные силы», писал Эвола, телом и словом сам став монолитным и суровым, излучающим силу, произведением искусства и евхаристией. *Эвола Ю.* Лук и булава / Пер. с ит. В. Ванюшкиной. — СПб.: Владимир Даль, 2020. С. 40.

²¹ *Дугин А.* Там же. С. 20.

²² К сожалению, рано умершей от рака в 2005 году в возрасте 52 лет. Приведем в память о ней некролог: <https://newsinfo.iu.edu/news-archive/1825.html>.

²³ *Чанцев А.* Чоран: невыносимое бытия // Перемены. 2016, 24 июля (<https://www.peremeny.ru/blog/19790>).

²⁴ В свое оправдание Чоран мог бы привести — или где-то и приводил? — слова из дневников Леона Блуа: «Мое здоровье не позволяет мне стать святым». Впрочем, у уже упоминавшегося отца Александра (Шмемана) можно встретить и такую версию «идентичности» Чорана: «Человек, годами пишущий элегантнейшие, отточенные афоризмы — об абсурде, отчаянии, разумности самоубийства, не может быть серьезным». *Шмеман А.* С. 495.

²⁵ Отметим для себя это новое издательство, которое и в дальнейшем собирается знакомить с ключевыми авторами немецкого послевоенного консерватизма. В частности, уже анонсировано издание двух работ австро-немецкого консервативного мыслителя Герда-Клауса Кальтенбруннера. Воспользовавшись случаем, поблагодарю главного редактора издательства Даниила Житенёва за его просветительскую деятельность в целом и наши беседы в частности.

²⁶ О совместных трипах Хофмана и Юнгера см.: рецензию на юнгеровские «Приближения. Метафизику опьянения» *Чанцев А.* Новые тонкие связи мира // Перемены. 2023. 15 февраля (<https://www.peremeny.ru/blog/27517>) и один из предыдущих выпусков этой рубрики «Стеклянные самолёты внутри» в «Дружбе народов» № 3, 2023 (<https://magazines.gorky.media/druzhiba/2023/3/steklyannye-samolyoty-vnutri-ili-tripy-s-ernstom-yungerom.html>).

²⁷ В духе «Значит, мертвые — встать!» из песни Сергея Калугина «Последний воин мёртвой земли».

²⁸ *Шмеман А.* Там же. С. 171, 117.

Ольга Балла

Всё, что кончится в мире со мной

Все три книги этого обзора — воспоминания, и прежде всего — о детстве. Много общего и у их авторов: все они — писатели, все — москвичи по рождению (один из них, правда, давно уже сибиряк по вольному выбору и, видимо, изначальному душевному устройству), родившиеся в пятидесятых: в начале, в середине и в конце десятилетия. И каждый, вспоминая начало жизни, истоки собственной личности, говорит и о людях, стоявших у этих истоков, ставших этими истоками. Рассмотрим, насколько по-разному авторы решают как будто одну и ту же задачу.

Елена ХОЛМОГОРОВА. Недрогнувшей рукой: Рассказы. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024. — (Совсем другое время)

Сама Елена Холмогорова — прозаик, эссеист, литературный редактор, преподаватель творческого письма — называет свою книгу сборником эссе, а один из первых ее рецензентов, Денис Сорокотягин, предложил для нее эффектное название «авто-роман»¹. Правы оба: книга действительно составлена из законченных самостоятельных текстов, каждый из которых в принципе способен быть и прочитанным помимо прочих, и изъят из общей конструкции без существенного ущерба для целого. Но правда и то, что все они складываются во вполне связанное повествование со сквозным сюжетом.

Этот сюжет можно сформулировать как восхождение от личного к общечеловеческому, вырастание из личного, как будто случайного опыта понимания жизни в целом.

Книга — не совсем о прошлом, хотя о нем тут говорится очень много — начиная с самых ранних, еще досмысловых воспоминаний («Раскрытое окно, и на нем ажурная белая занавеска (теперь думаю, тюлевая). Она волнами ходит туда-сюда, то надуваясь парусом, то опадая. Главное — ощущение опасности, что она улетит (сейчас понимаю — на улицу). Отчетливо вижу дырочки на занавеске, которым постоянное движение не дает сложиться в узор»), и до событий совсем недавних лет, до упорного всматривания повествовательницы в конечность жизни и во взаимоотношения человека со смертью. Она — о самом главном в жизни, которое стало понятным с помощью прожитого, благодаря ему. В конечном счете — о ценностях и основах.

¹ <https://natelit.ru/avtory/sorokotyagin-denis/karamelka-s-tabachnymi-kroshkami/>

Речь о них заходит с первых же страниц, с первого раздела, посвященного детству, — прекрасному, счастливому детству в большой любящей семье, на редкость насыщенной культурными смыслами: дедушка — художник, поэт, писатель, искусствовед, философ, «знакомец Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой» Леонид Фейнберг, дедушкин брат — пианист и композитор Самуил Фейнберг («дядя Сеня»), дедушкина жена — поэт и переводчица, прежде всего с японского, Вера Маркова (да, да, та самая, которая перевела «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, переводила и хайку Басё и поэтов его школы, и средневековые японские повести, и пьесы театра Но, и японскую поэзию XX века, и новеллы Акутагавы, и стихи Эмили Дикинсон; та, благодаря которой, словами которой мы по сию пору повторяем по-русски сказанное в позапрошлом столетии поэтом Кобаяси Исса: «Тихо, тихо ползи,/ Улитка, по склону Фудзи/ Вверх, до самых высот!»); отец — поэт, драматург, переводчик (главным образом с восточных языков) Сергей Северцев, тётя — «знаменитая сказочница» — детская писательница, поэтесса, переводчица, драматург, сценаристка, художница Софья Прокофьева (её сын, внук композитора Сергея Прокофьева и двоюродный брат автора Сергей, с которым маленькая Алёна строила «города из кубиков на большом ковре», стал антропософом, адептом Рудольфа Штайнера, одним из шести Великих магистров и покоится теперь на маленьком кладбище около Гетеанума, в швейцарском Дорнахе, где прожил большую часть жизни).

«С утра в квартире звучал Бах, день начинался с какой-нибудь прелюдии или фуги из “Хорошо темперированного клавира” — дядя Сеня разыгрывался. <...> В другой комнате стоял мольберт, вкусно и остро пахло красками, и можно было следить, как под кистью белый лист превращался в картину».

«Много лет спустя, — пишет автор, — кто-то сказал, что в этом доме прожили жизнь так, будто не было советской власти». Сразу же вслед за этим она уточняет, что это было не совсем так, но невозможно не признать — советская власть в его стенах была куда менее властной, чем за их пределами.

О ближайших родных (а также о няне тете Пане, вырастившей маленькую Алёну), о других ближних и дальних, о самой атмосфере в доме на Миусах Холмогорова говорит много и с любовью, что уже и само по себе ценностное высказывание.

Так вот, в одной из глав первого раздела говорится о ценностном выборе, сделанном автором в девять лет, когда ее и одноклассников спросили на уроке внеклассного чтения, на кого из литературных героев им хочется быть похожими. Как раз тогда полетел в космос Гагарин, и все, конечно же, мечтали быть похожими на него (разве что книжек о нем ещё не успели написать) — по крайней мере, на кого-нибудь героического: Мальчиш-Кибальчиш, пионеры-герои... А девятилетняя Алёна сказала: «Я хотела бы быть как Настенька из сказки “Аленький цветочек”» (которая, значит, полюбила «зверя лесного, чудо морское» и вернула ему своей любовью человеческий облик). Учительница чрезвычайно удивилась такому нетипичному ответу. То, что это именно ценностный выбор, самой Алёне стало ясно лишь спустя много лет, но сам выбор был и остался несомненным.

«Да, — пишет она, — теперь-то я прочитала Проппа и в курсе, что он относил “Аленький цветочек” к типу сказок “Амур и Психея”, где девушка попадает в прекрасный сад или замок и становится невольной пленницей некого монстра. И про Апулея, и про то, что в русской традиции есть с десятков вариаций этого сюжета... И у Бахтина — о том, что “*воплощен* для меня ценностно-эстетически только другой человек. В этом отношении тело не есть нечто самодостаточное, оно нуждается в *другом*, его признании и формирующей деятельности”. И еще много чего, как в школе

говорили, “по теме”». Однако главное было ясно уже тогда: «Для меня Настенька была тогда и осталась воплощением жертвенности и милосердия, трогательной дочерней любви и примером женской любви не за красоту лица, а за красоту души. <...> В сказках превращения тела, изменения облика — обычное дело. <...> Расколдовывания (в том числе поцелуем) — тоже общее место. Но здесь это становится именно осознанным жестом, подвигом».

«Для меня было главным, — объясняет автор, — <...> что у Настеньки был выбор, она могла спокойно остаться с отцом и сёстрами...»

Книга — история формирующих начал и восприятия, усвоения автором их воздействия; складывания пристрастий, волнующих тем, предметов внимания, жизненных ориентиров. О том, что воспитывало и подавало пример. А воспитывало — едва ли не всё. О каждом явлении — о литературе, о музыке — рассказывается, на что оно открывало растущему человеку глаза. Так что собранные сюда тексты — не просто опыты самопрояснения, но размышления над, так сказать, человекообразовательным (человекообразующим?) потенциалом всего, с чем человеку случается соприкоснуться в жизни (и что лучше собственного опыта поможет это увидеть и рассмотреть?). В первую очередь, конечно, над человекообразующей силой искусства, но не одного только его.

Вот о музыке: «...Академическая музыка, классика вошла в меня в таком раннем детстве, что стала и осталась естественной и неизбежной, как дыхание. Из меня не получилось профессионала, музыка для меня — это прежде всего не опыт обучения, а опыт квалифицированного слушания. Потому что для любого творчества (и для восприятия жизни вообще) музыка — как ничто другое — дает то, что Ольга Седакова точно назвала “расширением сердца”: способность по-настоящему глубоко чувствовать всё вокруг. А для развития поэтического слуха, чуткости к слову у музыки нет соперников, разве что стихи, без которых я тоже не живу и дня».

Воспитывал сам дом, в котором проходило детство, начиная с пяти лет: «кооператив педагогов Московской консерватории», населенный выдающимися людьми. С одной стороны, это очень поднимало планку и подталкивало к смирению, с другой — ведь и освобождало: «Мемориальные доски облепили дом значительно позже, в моем детстве и отрочестве обитатели ещё здравствовали. Я с детства привыкла жить среди знаменитостей, встречать их в подъезде и ближайшем продуктовом магазине, а потом видеть на ярко освещенной сцене Большого зала Консерватории. Эта прививка против раболепия и одновременно снобизма позже и помогала, и мешала мне в жизни».

Читатель вспомнит эту изначальную независимость и чувство общечеловечности и равенства, увидев, как, рассказывая о, казалось бы, совсем другой социальной среде — о деревне Юшино в Брянской области, из которой происходила няня Паня, о её жителях, о том, как дед Леонид Евгеньевич реагировал на внучкины рассказы об этом в письмах (и, отвечая ей, писал «своим потрясающим, неповторимым почерком»), — автор цитирует статью Лотмана о декабристах в повседневной жизни: «...Подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, — легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев. Эта способность быть без наигранности, органически и естественно “своим” и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми, составляет культурную

специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры».

Эта большая цитата неспроста — и тут, и в книге Холмогоровой. В ней высказано нечто основополагающее.

Чувство равенства без панибратства, легкость без легкомыслия. Сложнейшее искусство естественности.

Дворянства давно нет, а вот же ведь: ценность — пережившая свои социокультурные истоки — жива и по сию минуту.

Холмогорова вообще обращает много внимания на то, как воплощаются ценности, как они переживаются и биографически, и попросту телесно и повседневно. Они могут быть выражены, например, в организации пространства — которое, в свою очередь, будет задавать жизни тонус: «Первое, что я сделала в новой квартире, — пишет автор о доме, в котором поселилась уже после смерти мужа, — решительно снесла все стены. <...> теперь всё как-то на виду — никаких закоулков и тупичков. И я радуюсь: наступает момент, когда хочется прозрачности и простоты во всём — в том числе в собственном доме».

Книгу можно даже назвать ценностной автобиографией автора — не выстроенной систематически и последовательно лишь потому, что в этом, на самом деле, нет необходимости: при систематическом выстраивании что бы то ни было всегда есть вероятность задавить что-нибудь живое и упустить что-нибудь своевольное, не согласное укладываться в рамки. Автор же доверяет своевольному и внимательна к живому. И о ценностях не философствует — а живет ими: «Для меня и сегодня, — признается она, — эстетическое в широком смысле значимее интеллектуального и, стало быть, философского».

Ценному — в его неотделимости от бесценного — в книге посвящен и собственный раздел, он так и называется — «Ценное и бесценное». Как раз примерно посередине, — как центр, на котором всё держится.

Жесткой системы у книги нет, но продуманная структура есть — в ней семь разделов и одно небольшое предисловие, где говорится о том, ради чего (или, скорее, ради кого) это все написано. В каком-то смысле это — письмо мужу, Михаилу Холмогорову, с которым Елена прожила много лет, умершему в 2017-м, разговор с ним, который никогда не прекращается. И это, конечно, тоже само по себе ценностное высказывание.

Марина БОРОДИЦКАЯ. Не забудь сказать спасибо: Лоскутная проза и не только. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024. — (Совсем другое время)

Книга — ну не то чтобы вот прямо воспоминаний, но, сложнее, — разрозненных, разноформатных и разнонаправленных высказываний о себе и о прожитом, проживаемом времени, — поэта и переводчика с нескольких языков Марины Бородицкой все-таки включает в себя и более-менее классически организованные воспоминания. Прежде всего, это рассказы о родителях и ближайших людях, о семейных шутках и словечках, об игрушках и книжках, вообще о первовпечатлениях, о становлении сознания — которые и открывают книгу, позволяя яснее увидеть всё остальное.

«Четвертое лето. Это мой первый *сознательный* год. Нет, я помню себя и раньше, но как-то нерезко и отрывочно. А за пару месяцев до четырехлетия начала вдруг четко осознавать и себя, и мир вокруг, и свою от него отдельность — и связанность тоже.

Я просыпаюсь утром в своей деревянной кровати. Первым делом нужно узнать, есть ли сегодня солнце. Это очень важно, от этого многое зависит: разрешат ли раздеться до трусов, пойдём ли гулять подальше, будет ли купание. Надо приподняться, вытянуть шею и через окошко дотянуться взглядом до кроны дерева в конце тропинки, что ведет к калитке. Если на листьях пляшут первые золотистые блики — значит, всё в порядке».

Название классически-мемуарной части книги — адрес дома, где прошло детство автора. «Пушкинская, 17», он же Горького, 12, — такое возможно только в московской (био)географии, с дерзким легкомыслием пренебрегающей и Евклидом, и Лобачевским. Этого дома уже нет — и тем неуничтожимее он в памяти, тем настоятельнее он как задача для работы воспоминания.

Мой дом на Пушкинской сломали,
Пустырь забором обнесли,
В пятиугольной нашей зале
Звезду небесную зажгли.

Впрочем, слово «работа» автору, кажется, вряд ли понравилось бы. Поту и опыту работы, всем её усилиям и преодолениям сопротивления разных материалов она — во всяком случае, на уровне разговора об этом — несомненно предпочитает игру. В свойственном Бородинской способе понимать жизнь и говорить о ней многое определило, кажется, своеобразие её профессиональной позиции: неразделимое единство в ней поэтов детского и взрослого да ещё и переводчика — в том числе сложнейшей поэзии, от, скажем, Чосера и Джона Донна до самого Шекспира.

«Наверное, неправильно говорить “детский поэт”, — цитирует автор одного из своих собеседников. — Ведь *детский* и *поэт* — одно и то же».

Высказывание, конечно, очень вписанное в контекст (оно прозвучало на похоронах Валентина Берестова, который, по словам мемуаристки, совершенно справедливо «терпеть не мог, когда [его. — *О.Б.*] называли детским писателем, детским поэтом» (о стихах же его она говорит как о «простых как волшебная палочка, по-детски взрослых, по-взрослому детских, всегда с секретом, с двойным дном»). Но и применительно к Бородинской оно, кажется, совершенно точно. А Берестов был одним из тех, у кого она многому научилась.

Многому научилась она и у своих любимых, переводимых ею англичан: и размытости межвозрастных границ, и вкусу к ясности высказывания, и глубокому родству «серьезного» и «иронического», печали и веселья. Или, что вернее, счастливо совпала с ними во всем этом — учишься ведь тому, что в тебе уже есть, в осуществлении чего чувствуешь потребность.

Пусть обносит мальчик нас
Пенистым по кругу,
И хвалу мы не скупясь
Пропоём друг другу,
И утонет, как змея,
В чаше величальной
Этот ужас бытия
Экзистенциальный.

Обращение к собственным истокам происходит в книге Бородинской в нескольких форматах — от стихов до интервью (их тут два, оба — большие и принципиальные: разговоры автора с Еленой Калашниковой и Дмитрием Ивановым об устройстве и внутренней феноменологии собственной переводческой практики, о которых Бородинская говорит с неизменной самоиронией — вплоть до самоумаления: «Нормальный переводчик, когда строфу набрасывает, начинает с системы рифм, я же — с той строки, которая первая в голове зазвенела и от которой потом ветвятся остальные»), от более-менее регулярно выстроенных мемуаров до дневникоподобных (отрывочных, ситуативных — разве что не датированных) «Записок разных лет», в которых схвачено на лету прошлое уж совсем недавнее — от девяностых до наших дней. В книгу включена также серия («За учителей своих...») мемуарных очерков о людях, сыгравших в жизни автора важную роль — одновременно, неразделимо в профессиональном и человеческом отношениях. Это Вильгельм Левик, Юрий Коваль, Валентин Берестов, Вадим Шефнер, Владимир Тихомиров, Асар Эппель, Алексей Зайцев, Эдуард Успенский, Михаил Яснов, Игорь Бяльский и среди сплошных поэтов, внезапно — и художники, Эрик Булатов и Олег Васильев, и классная руководительница Татьяна Исааковна, а среди сплошных людей — вдруг целый журнал, «Пионер». Тексты о них — не столько даже воспоминания, сколько — главным образом — объяснения в любви.

Далекая от намерений философствовать и обобщать, куда более доверяющая ироническому, игровому, ситуативному, Бородинская, казалось бы, всего лишь рассказывает истории и вспоминает отдельные сюжеты. Тем самым, однако, она восстанавливает не только собственное единственное прошлое, но и окутывавший его воздух времени. Каждая деталь, каждая вещь, не переставая быть собой, превращается в символ. Особенно в стихах.

Встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку,
Светлый пенал из дощечек и дальше по списку:
Кеды китайские, с белой каёмочкой майку
И промокашку, и вставочку, и перочистку.
<...>
Разные нити людей сочленяют: богатство,
Пьянство, дворянство... порука у всех круговая,
Пусть же пребудет и наше случайное братство:
Встаньте, кто помнит, — и чокнемся, не проливая!

Стихи тут — не только, да и не в первую очередь иллюстрация того, что вспоминается в прозе, но важнейший элемент всей мемуарной конструкции.

Поэтические части книги отделяют, отбивают части прозаические друг от друга (помимо всего прочего, это придает книге ритмичность). Можно даже сказать и так: прозаические и поэтические части сменяют друг друга как горизонтальные (проза) и вертикальные (стихи). В прозаических фрагментах — об отдельных случаях, единожды состоявшихся в жизни единственного человека. В поэтических — мгновенные формулы.

Кто мне задал назвать своё имя
И заполнить листок обходной:
Перечислить, сцепив запятыми,
Всё, что кончится в мире со мной?

Стихи — легкие (принципиально, программно легкие), как будто совсем простые — сплошь прямые высказывания, — почти детские. Да и не почти (на самом деле — попросту убирающие границу между детским и взрослым; но при этом полные переключек с поэтической традицией и скрытых цитат). Но когда же настоящая, честная детскость исключала и полноту, и глубину, и трагичность жизни? Скорее, напротив: она, открытая, незащищенная — без взрослых защит, — позволяет увидеть их наиболее полно и — без взрослых масок и взрослого притворства — говорить обо всём этом максимально прямо. (И кто же знает об этом лучше поэта, особенно когда он — ещё и переводчик: с простого на сложный, со сложного на простой, со взрослого на детский, с детского на общечеловеческий?) И воспоминания о детстве у Бородинской практически незаметно, без зазоров переходят в разговор о самом существенном, о жизни-и-смерти в их неразделимости: что, кроме предельно внимательно прожитого детства, поможет увидеть эту неразделимость?

Последний лагерный денёк.
Последний окрик, долгожданный.
Зажат в руке сластей кулёк.
Мальчишки грузят чемоданы.
<...>
Пора, пора в автобус лезть.
И песни петь — не в лад, но вместе...
Зачем мы все гостили здесь?
И кто нас встретит там, на месте,

Обнимет, скажет: «Боже мой,
Опять разбитая коленка!»
И насовсем ли мы домой
Иль это просто пересменка?

От собственного же единственного опыта автор переходит к общечеловеческому столь же прямо и без зазоров. Единственное — наилучший способ его уловить и разглядеть.

Может показаться, будто большой Истории здесь почти нет — в основном истории маленькие, из частной жизни. На самом деле она разлита в воздухе времени, впитана в каждую его деталь, и Бородинская — говорящая о больших исторических обстоятельствах как будто совсем вскользь, по ходу дела — на самом деле прекрасно чувствует этот фон собственной жизни и никогда не выпускает его из виду. И в прозе, и — особенно — в стихах. Там, где мгновенные обобщения и мгновенные же формулы.

Мы — из серёдки
пятидесятых,
мы поколение
на воле зачатых,
детей непоротых
жён небитых,
на школьных танцульках
скакавших под «Битлз».

Конечно, это ещё и поколенческая рефлексия. Анализ опыта, доставшегося всем ровесникам.

Четырнадцатым летом, налегке,
Мы велики пасли, согнав к оврагу.
Трещал приёмник. Где-то вдалеке,
Незримые, вползали танки в Прагу.

Иногда — имея несомненный вкус к высказыванию одновременно прямому и формульному — автор выскажется и совсем открыто и жестко:

Чего бы проще: с этакой страной
Расстаться? Да она и слёз не стоит!
Пусть в метриках ей пишут: «Отказной
Ребёнок-даун, внешне монголоид,

Характер тихий, но порой вязать
Приходится. Лакает водку с чаем.
Протянешь руку — может облизать,
А может откусить. Необучаем».

<...>

Но всё нас тянет в эту маету,
Всё верится: в диагнозе ошибка
И нам сияет в аэропорту
Кириллицы шербатая улыбка.

Но по большей части историческое прошлое и историческое же настоящее остаются фоном, становясь фигурой исчезающе-редко.

Нисколько не расположенная идеализировать прошлое, Бородинская, с другой стороны, не склонна и драматизировать его. Ее отношение к прожитому — внимательная благодарность, счастливая печаль, прощальная нежность.

Ещё последняя нам сласть
дана в наследство:
Сначала в отрочество впасть,
Не сразу в детство.

<...>

Там можно сделать встречный шаг
как одолженье
и целоваться просто так,
без продолженья.

Вообще-то, вся книга, в каком-то смысле, — акт не только осмысления жизни, но и отпускания её. Заключительные стихотворения (строчка одного из них стала названием всей книги, а целиком высказывание таково: «Не забудь сказать спасибо, / Встать и вовремя уйти») говорят об этом отпускании с особенной настойчивостью — и с почти не тайной, почти не безумной надеждой на будущую новую встречу.

Михаил ТАРКОВСКИЙ. 42-й до востребования: Роман. — М.: Вече, 2024. — (Проза нового века)

Книга Михаила Тарковского — прозаика, поэта, биолога, охотника, внука поэта Арсения Тарковского, племянника режиссёра Андрея Тарковского (сына его младшей сестры, Марины), — пожалуй, наиболее сложный из ныне обозреваемых текствозвращений. Хотя бы уже потому, что — при внешней своей фрагментарности — по замыслу это книга цельная и уже с самого начала заявлена как роман, что, однако, не сразу становится очевидным. Читателю необходимо добраться до конца, чтобы увидеть всю конструкцию как именно романную, с несколькими — по меньшей мере с двумя — сюжетными линиями (взросление самого мемуариста и жизнь его бабушки) и со многими временами, от времени бабушкиных предков до конца первой четверти века XXI. С первых же страниц и долго ещё этот текст будет выглядеть как классические воспоминания: как восстановление автором своей изначальной жизни, образующих личность первовпечатлений.

«Я родился и вырос в Замоскворечье, в деревенских почти переулках. Две комнаты были у нас на первом этаже двухэтажного дома с кирпичным низом и бревенчатым верхом. Родители работали, пытались снимать жильё неподалеку, а позже купили “кооперативную” квартиру в другом конце города, в Марьиной Роще. До пятого класса школы я прожил с бабушкой Марией Ивановной. С детства меня окружало целое скопище прекрасных людей, но именно бабушка стала моим самым непостижимым и кровным человеком. Эта книга о бабушке и близких её по роду».

От совсем типичных воспоминаний эту книгу с первых же страниц отличает язык — густой, яркий, своевольный и самоценный (как бы перерастающий собственную точность, к которой автор несомненно стремится), насыщенный авторскими окказионализмами и неологизмами: «припозорься», «приподножный», «запашистый», «враспор», «дрызглость», «скольз» («идти скользом»)… — с полным правом претендующий на роль самостоятельного героя этого повествования, сам по себе — слепок с внимательно реконструируемого детского восприятия мира. Эта книга вообще в значительной степени событие языка — медленного, подробного, ощупистого (хочется в ответ автору тоже изобретать собственные слова, чуть-чуть сдвигая привычный языковой узус, растягивая его рамки). Телесного, тактильного. И сопутствующего ему хищного, цепкого зрения.

Та, что самим автором названа главной героиней романа, проявляется в этом качестве далеко не сразу. По-настоящему она оказывается в центре повествования лишь в самом конце, когда текст окончательно перестает быть восстановлением собственной жизни автора и превращается в рассказ о жизни Маруси Вишняковой, о её детстве и молодости задолго до того, как она станет бабушкой и займет какое бы то ни было место в жизни своих внуков (прежде всего — своего «главного» внука, Михаила, которого она вырастила), и спускается ещё глубже, к корням, к предкам.

Бесконечно благодарный бабушке, трогательно-нежный в своей памяти о ней, Михаил постепенно высвобождает её из пут доставшейся биографической роли и дает возможность — и нам, и самому себе — увидеть, насколько возможно, во весь рост, помимо ролей, со всем неосуществившимся. А не осуществилось, по-видимому, очень многое, в том числе, должно быть, и волею самой героини: начиная с некоторого времени она перестала писать стихи и прозу (которые и свели её когда-то с молодым поэтом Арсением Тарковским на Высших литературных курсах при московском профсоюзе образования) и всё, что только было возможно, сожгла, — и целиком ушла

в воспитание сначала детей, Андрея и Марины, потом Маринино сына Миши. Стала источником их жизни. В этом видится что-то от добровольного самопожертвования.

И, кстати, очень вероятно, что такое смещение внимания, перефокусировка его соответствует созреванию восприятия нарратора, — это созревание вполне может быть названо основной сюжетной линией книги: естественный детский эгоцентризм, захваченность ближайшими впечатлениями по мере взросления повествователя уступают место вниманию к миру в целом, к тому, что не связано с личностью и опытом автора, по крайней мере, связано с ними не напрямую. Восхождение от «я» и «моё» — к «не-я». Другой сюжетной последовательности тут нет.

Оттолкнувшись от того, как в самом начале, года в три (возраст, к которому относятся первые осознаваемые воспоминания) он «смотрел <...> на мир, как сквозь цветной холодец. Вздрог, неверность движений, их пробность», автор показывает, как на этом младенческом фоне по мере взросления повествователя медленно складывались, выявлялись и укреплялись фигуры.

Вот он вспоминает время смерти своей прабабушки, почти совпавшей с его восьмилетием, дом родственников, куда мальчика отправили на время похорон: «...До чего странно совместились смерть Бабушки Веры с гостеванием в крупинском доме, где я всегда замирал в восхищеньи — его объемами, гулкой наполненностью сложными силами, от которых меня ещё неизбывней охватывало чувством моей ведомости, медлительности происходящего и вечного моего отставания, словно я погружен в какую-то вязкую и очарованную туманность».

(Вот эта «гулкая наполненность сложными силами», кажется, очень точно передает детское чувство пространства.)

В соответствии с этим в книге можно отчетливо выделить два повествовательных пласта. В первом из них, в начальных её частях — главном, — автор восстанавливает прежде всего собственное детское, раннее, почти доязыковое ещё восприятие, для которого остро, таинственно новы и мир, и сам язык его описания, а вместе с ним — подробно-осязаемую фактуру ближайшей к ребенку жизни, в осязание которой вовлечены все органы чувств в изначальном синестетическом единстве. Первоmaterию существования, густое, комковатое, жгучее его вещество.

«...В Солнечногорске было много зимы, вечеров, огней, мерцающих на морозе протерто и колко. Морозных иголок в носу... Кочегарок и запаха угольного дыма». «Играл под вечер до жаркого пота, до жгуче-шершавой шапочной сырости на лбу».

Бабушка присутствует тут неизменно, но вначале она — далеко не всегда в фокусе повествовательного внимания (хотя время от времени вспыхивает в этом фокусе и описывается с величайшей пристальностью: характерные словечки — «не глупи» и «прекрати», произносимое как «перкрати»), выражения лица, жесты, пристрастия: «Бабушка была курильщицей, хотел сказать — страстной, а правильнее — обреченной. Курила только папиросы и только “Север” и “Прибой” и терпеть не могла сигареты, воспринимая их как нечто едкое и вредное, после чего “в доме воняет табачищем”, и, конечно, недопустимо-нынешнее и холодное, навроде фонарного неона. Курила: держала папиросу, как в развилке, указательным и средним пальцами. Затянется, развилку с папиросой отведет от лица и, подняв подбородок, длинно и пространно выдохнет. Спички у бабушки всегда под рукой. Тушит плавным зигзагом — о воздух и никогда не задувает»). В первых частях книги она — фигура не столько главная, сколько скрепляющая — удерживающая вместе разные, с разным связанными области детской жизни, детского освоения мира. В каком-то смысле придающая им цельность. Она — центр повествования, но у этого центра ещё долго будут обширные самоценные окраины, намного превосходящие центр по объемам.

Второй пласт — история бабушкиной жизни. Ближе к концу книги, где «я» вообще, отодвигаясь на периферию, постепенно уступает место «не-я», выходящая на первый план и, наконец, заполняющая собой всё повествовательное пространство: тут текст перестает быть воспоминаниями и становится художественной прозой. Сам же повествователь нужен себе тут уже только затем, чтобы эту жизнь вообразить, прочувствовать, выговорить. Чтобы сделать её реальной, полнокровной, превратить из воображаемого прошлого — в несомненное настоящее.

«Маруся вдруг забыла про мужа. Подошла к Волге, присела на колено, что-то пошептав, умылась ладошкой, вдруг быстро встала и побежала по медководью, а потом, как чалку, закинув руку с острой ладонью, бросилась в Волгу и поплыла, тягуче выгребая и чуть поворачивая голову, туманно отфыркиваясь, осматриваясь вправо-влево, вправо-влево. Сливаясь с волжской водой и зная, что Асик смотрит на неё во все глаза.

Удаляясь, перешла на какой-то уже полукроль: руки как лопасти одного весла — колёсно сливаются в круг. Асик в длинных купальных трусах смотрел на неё, сщурившись, а потом стал медленно и долго заходить в воду. Маруся специально выбрала место поположе. Когда подплывала, брасово (без брызг!) работая руками, Асик крикнул неестественно громко и протяжно: “Маруся, не брызгайся!”, так что крачка тоже крикнула и сорвалась с коряги...»

В романе (помимо множества второстепенных персонажей, среди них и родители автора, о которых не сказано почти ничего) есть и чуть менее главные герои — дядя Андрей и дед Арсений. Понятно, что за пределами воспоминаний автора они остаться не могли, — при этом, в соответствии с уже сформулированной нами логикой сюжета — постепенным созреванием восприятия, оба знаменитых родственника появляются и проявляются только во второй половине книги. (Бабушка же — героиня настолько неизменно-главная, настолько точка всех отсчетов, что, например, Андрей не раз обозначается нетипичным, как бы даже остраняющим словосочетанием «бабушкин сын». Как будто это в какой-то другой, отдельной от повествователя жизни.)

Интересно, что чувство волнующей значительности, недостижимой крупности связано у автора почти (?) только с Андреем, — прямо телесное, гипнотическое чувство, задающее дистанцию, лишаящее свободы (во всяком случае, сильно её ограничивающее). Дед-поэт, оставивший бабушку с двумя маленькими детьми ещё до войны, в жизни внука появлявшийся нечасто и неизменно в сопровождении своей третьей жены, вначале увиден детскими глазами как персонаж довольно чужой и странный до экзотичности, «дядя Ася» — «без оттенков, просто либо “дядя” либо по родственной области — брат отца матери»: «На дяде Асе лежала печать лоска. Пахло от него каким-то вкусняющим табаком, и табак этот не имел отношения к “северам-прибоям”, вообще к “казбекам”, “дукатам” и “шипкам” из ларька на Серпуховке. Дяди-Асин табак был из тех, что, если называть ароматным, пахучим, душистым, всё будет бедно да бледно». «В каком возрасте осознал я, что астроном этот дядя Ася — мой дед, бывший бабушкин муж, пишущий стихи, — не помню. Возможно, сказала бабушкина привычка называть его Арсением — никогда не слышал, чтоб она сказала “твой дед” или “когда дедушка был на войне”. Да и сухо-лощенный его образ не вязался со словом “дедушка”...»

Полноту же реальности, живую трогательную единственность (исчезают и сухость, и лошеность, и экзотичность...) Арсений Тарковский обретает в третьей части книги, где подробно показана их общая с Марусей жизнь, куда включены полные тексты их писем друг к другу, в том числе и тех, что написаны уже после расставания. Ко времени написания некоторых из них и отсылает название романа, смысл которого тоже понимаешь, только добравшись до конца.

Борис Минаев

Жить дальше

Считается, что длинная жизнь у спектакля — признак того, что его любят зрители. Они раскупают билеты заранее, бешено аплодируют, и всё такое. Поэтому эти спектакли и идут так долго, держатся на сцене чуть ли не десятилетиями — они какие-то «смотрибельные», уютные, родные.

Но есть другая сторона дела: в каждом новом витке времени такой спектакль становится всё актуальнее, вместе с наплывающими событиями проявляется его *нужность*. Он как бы сам цепляется ко времени, ну и время тащит его за собой.

Наверное, именно так произошло со спектаклем «Предпоследний концерт Алисы в Стране чудес» в театре «Около» (художественный руководитель Юрий Погребничко). Родившийся в 2002 году, он то появлялся, то сходил, возникал снова, уже в другом виде, с другими актерами — но время вновь и вновь «вызывало его к доске».

Вот и теперь — вновь восстановленный — он почему-то всё нужнее и нужнее этому московскому зрителю. Люди сидят на ступеньках, на приставных креслах, мне кажется, была бы возможность, — они бы и на люстре сидели (если бы в этом театре были люстры).

Почему так?

...Интересно было бы узнать, конечно, как режиссёру приходят в голову идеи — потому что кажется, что такую удивительную штуку, как «выросшая» Алиса в образе уже совсем немолодого человека с фанерным чемоданчиком, старого зека в потрепанном костюме, — можно увидеть только во сне.

Да и сам текст «Алисы в Стране чудес» не так-то прост для восприятия, причем в любом возрасте, хотя издают её ещё с времен первого появившегося у нас перевода Заходера как детскую сказку.

...Ну а тут, в «Предпоследнем концерте», — совсем уж непростые аллюзии.

Все превращения, головоломки, загадки Алисы вставлены в совершенно определенную рамку: большой террор, Гражданская война и Вторая мировая, поэтому постоянное желание Королевы отрубить кому-то голову воспринимается тут абсолютно конкретно. И если уж Чеширский Кот ходит в мундире армейского офицера, а Белый Кролик — энкавэдэшника, то почему бы тогда Треске, Валету и Белуге не быть в форме, очень напоминающей эсэсовскую?

Лай собак за сценой лишь дополняет это впечатление...

Король, Королева и Белый Кролик, задающие каверзные вопросы, сидящие за длинным столом, — вполне похожи на «особую тройку».

«Художественная самодеятельность в концлагере», — как сказал один из зрителей, закольцевав все эти мои впечатления.

Алиса, как всем известно, личность очень непростая, готовая экспериментировать и над своим телом, и над сознанием, над пространством и временем, принимающая все провокации и ловушки не только с чувством собственного достоинства, но и с глубоким внутренним интересом.

Её (то есть Алису) здесь бесценно, все двадцать с лишним лет, играет Алексей Левинский — актёр, режиссёр, театральный экспериментатор, создатель самых разных театральных студий и техник с большим стажем, ему ли не знать это головокружение риска, это смертельное любопытство?

Впрочем, тут и происходит тот самый сдвиг, который важно уловить: если главная стихия литературной сказки про девочку Алису — это игра, которая включает в себя в том числе и абсурд, то главная стихия театральной версии — это как раз сам абсурд, превратившийся в жизнь.

Эта тема, согласитесь, становится всё ближе и ближе с каждым годом.

То, что было невозможно произнести вслух, а не то что публично, ещё вчера, — делается главным идеологическим трендом сегодня. То, что было невозможно представить себе в реальности, стало не только реальностью, но и чем-то вполне обыденным — привычными, будничными новостями. Ну и далее по списку: то, что было плохо, стало хорошо, и наоборот, то, что было понятно, стало непонятно.

Да и сама эта «реальность», вроде как укорененная во вполне конвенциональных, как сейчас говорят, вещах — в законах физики и математики, биологии и астрономии, в истории и юриспруденции, — вдруг куда-то поплыла, обрела бесформенный и текучий вид и превратилась в сплошное ожидание чего-то, что может её объяснить.

Но объяснения так и не происходит — зачем всё это, как, почему? Хотя ждут его со всё большим нетерпением.

Вот тут-то и пригодится нам Алиса, говорит театр, с её постоянной готовностью ничему не удивляться, всё принимать, не бояться этих жутковатых превращений и загадок, то есть воспринимать их как неизбежное и потому волшебное *приключение*, не теряя при этом чувства собственного достоинства ни на секунду.

Конечно, этот «алгоритм Алисы», пропущенный сквозь реалии XX века, с бесконечными мундирами, фуражками, лагерями и колючей проволокой, — выглядит сейчас довольно горько (и постаревшая Алиса в образе усталого человека с фанерным чемоданчиком, недавно реабилитированная — напоминает нам об этом), но... Но он работает, этот алгоритм. Работает он, видимо, и сейчас.

Однако на одной иронии и бесстрашии человек не продержится — нужно ещё что-то «для себя».

«Предпоследний концерт Алисы» (интересно, кстати, а будет ли когда-то «последний концерт» и при каких исторических обстоятельствах?) — спектакль очень густонаселенный, и многие его участники действительно поют, или, скажем, двигаются под музыку — а её в «Предпоследнем концерте» очень много: от Окуджавы до «Битлз».

Вот эти-то песни, в сущности, и являются *ответом* Алисы на её приключения в страшноватом мире XXI века — они свои, они родные, они «прилипли» к человеку, становясь его кожей, его броней, его силой.

Песни разные — важна именно интонация, манера. Строгий хор мужчин в белых рубашках, галстуках и выдавших виды пиджаках исполняет романс Окуджавы «Не сольются никогда зимы долгие и лета».

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слёз,
потому что перед ней две дороги — та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьёз.

Или — Треска, Валет и Белуга в черных мундирах, взятых как бы напрокат из советских военных фильмов «про немцев», танцуют под песню Джона Леннона «Дайте миру шанс».

Мы слышим то ли легкую иронию, то ли острый гротеск, но в любом случае отстраняемся, смотрим на себя со стороны, проверяя свой «последний оплот» — простые человеческие чувства, острые и нежные переживания детства.

Впрочем, бывает ирония ещё более и отстраненная, и острая. Например, все помнят классическую формулу Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!» — и вот они на сцене, скифы и азиаты, мужское трио, только на этот раз в оперных костюмах ордынских князей и войска Чингисхана, трио исполняет давно забытые вроде бы куплеты песни 1930-х годов:

Идёт страна походкою машинной,
Гремят стальные чёткие станки,
Но если надо — выстроим щетиной
Бывалые, упрямые штыки.

Стоим на страже всегда, всегда,
Но, если скажет Страна Труда —
Прицелом точным — врагу в упор,
Дальневосточная даёшь отпор!
Краснознамённая — смелее в бой!

Полки придут и с севера, и с юга —
С донецких шахт и забайкальских сёл,
Свою винтовку — верную подругу —
Опять возьмёт ударный комсомол.

Да, мы помним-помним — ирония и бесстрашие, это то, что поможет Алисе выжить и пройти свой путь, но всё-таки в этот момент немного и страшно, и холодно на сердце.

Один из критиков как-то заметил, что, мол, актёры у Погребничко — всегда немного дистанцированы от роли и в своей нейтрально-спокойной интонации как бы сами смотрят на персонажа *извне*. Всё так, и всё же у каждого персонажа в «Предпоследнем концерте Алисы в стране чудес» найдена для роли совершенно особая музыка, своя тонкая настройка.

Раздраженный и уязвленный чем-то глубоко скрытым внутри Король (Алексей Чернышёв), истерично-взбалмошная хохотушка Королева (Ольга Бешуля) — «конституционные гаранты» всеобщей жестокости. «Мужской квартет» — то есть «внутренний голос» Алисы в этом мире абсурдных и холодных загадок-фантомов (Алексей Мишаков, Алексей Сидоров, Игорь Михалев, Артур Сахаров), Чеширский Кот (Юрий Павлов), Белый Кролик (Сергей Каплунов), — все они, несмотря на то, что в спектакле творится всякая абракадабра, остаются в памяти как живые человеческие характеры.

Да и вообще, хотя весь спектакль — непрерывная подмена смыслов и бесконечные кавычки (Алиса вдруг становится пожилым мужчиной, зрители в зале — внезапно ощущают себя той самой женщиной в окне «в платье розового цвета»), мы постоянно помним, что сказка всё-таки добрая или по крайней мере рассказана добрым человеком, и нам не дадут в ней пропасть.

И вот тут-то и возникает последний, и главный, вопрос, который Алиса задает: только ли государства, только ли идеологии, истории касается этот тотальный сдвиг в сторону абсурда?

Или он касается чего-то большего?

И что если «поплыло» не наше представление о мире, а сам мир?

...В то время, когда Льюис Кэрролл писал эту сказку, или в то время, когда Борис Заходер переводил её на русский язык (то есть в 1860-е или в 1960-е), — казалось, что все эти загадки и шарады — вводят ребенка в мир большой науки, «нелинейной алгебры», высшей математики, новейшей логики, астрофизики, ядерной физики и так далее. Что они говорят читателю о том, что есть в мире непознанное, странное, огромные загадки Вселенной, которые ещё надо разгадать, относясь к ним именно как к шараде, как к веселой игре.

Но вот прошло время, и предупреждения, заложенные в тексте «детской сказки», кажутся уже довольно грозными.

Что случится с человеком в эпоху искусственного интеллекта?

Хватит ли ему земных ресурсов, чтобы и дальше их потреблять?

Почему всё вокруг горит, заливается водой и мазутом, пропитано ядом ненависти?

Конечно, ни сама Алиса, ни сказка о ней, ни театр, ни режиссер, ни песни Леннона и Окуджавы — не могут ответить на эти вопросы.

Но, возможно, допускаю я, вполне возможно, что они помогут этих вопросов не испугаться. И не замереть в бессловесном и тупом состоянии испуга.

А жить дальше.

Summary

Elena Antipova. My Little Friend

This novel is a compound weave of some layers of History, emotionally perceived by a child. Its protagonist Alenka is an age-mate of the post-soviet Russia. The book she is reading links the sideshow – archival materials about the Mennonite colony within the Russian Empire, their journey to Central Asia. For the author these historical collisions are a chance to connect the XI and XXI centuries, her meditations over Motherland, faith and home. How far can a person be led by his/her convictions and what must happen for he/she would change them? The experience of the apparently peaceful life of the characters turns out to be the eternal fight for private happiness, for the family, for the right to do a really important work.

Poetry

The profound poems by Ilya Falikov are about Love and Losses; it's a wonderful example of confessional lyrics. In the poems of Evgeniya Jan Baranova there are audible the existential worry and admiration for life, which can “combine the invisible with the landscape”. Social motives in Denis Balin's collection of poems “The Time of the Everyday Routine” are inextricably linked with the time of the lyrical hero's maturation. The philosophical lyrics of the Kazakhstan poet Aiguerim Tazhi is abundant with deep implications.

The new translations of the modern Turkic poetry done by poets Maxim Amelin, Irina Ermakova, Alena Karimova, Yourij Tatarenko and Mikhail Lipkin are presented in the selection “I'm Gathering the Host of My People”.

Fukudzava Youkiti. Gaining Identity

“The tradition existed for him to break it only”. In the chapter from “The Autobiography of the Elder Fukudzava” presented here the author – the famous Japan educator Fukudzava Youkiti (1835–1901) – tells the story of his studying in the Okata's School, where in the situation of nearly complete closure of Japan of the epoch of Tokugava's shogunate was beginning the generation (even if rather peculiar) of the self-sufficient type of the “new Japanese”, who soon opened his country to the world. The translation and preface of the well-known Russian Japanologist Alexander Meshcheryakov.

“To be heard. In the epoch of total speaking replicated by the rampant media; in the epoch of the “new plagues and Seven Years' Wars” only what was said quietly may be heard and comprehended by somebody. Utterly quietly”. For his annual review Evgenij Abdullaev has chosen eight books of poetry published in Russia and post-soviet countries.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**ДРУЖБА
НАРОДОВ**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
АЛЪМАНАХ
УДОБЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СОВЕТСКОГО
1953

**Дружба
народов** 12
1966

**Дружба
народов**
12
1978

**Дружба
народов**
12
1968

**Дружба
народов** 12
1968

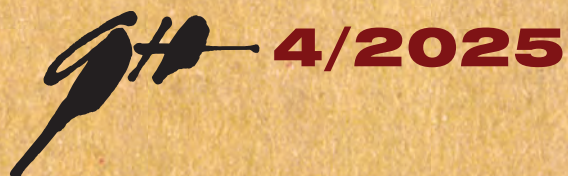
**Дружба
народов** 12
1969

**Дружба
народов**
86
1986

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
1
1939

ДРУЖБА НАРОДОВ
1954

**Дружба
народов**
2/2025



Читайте:

**Адольф Шапиро. Замри.
Расставания и встречи**

Премьера «Последних» в Берлине.

Он уже в костюме, ждём третьего звонка.

Вдруг велит администратору срочно найти фотографа: «Снимите толпу у кассы».

Ещё непонятно, как немцы примут спектакль, но ему ясно — победа!

Придя в МХТ, кризисный менеджер, как он себя называл, объявил войну полупустым залам.

Играть три дня в неделю, но при полных!

Великий ход. Так и шло полгода, до новых премьер.

Вкусив успех, труппа поддержала все начинания Табакова — от буфета без спиртного до репетиций сразу нескольких ролей. Как иначе? Она оценила его заботу о живых и память о мёртвых — внимание к могилам и помощь актёрам с детьми, больным и ветеранам...

Олег Павлович, великий искуситель, вывозит театр на гастроли, вручает значки, премии, устраивает праздники — начало сезона, старый Новый год, конец сезона, юбилеи... Ему по душе пиршества с капустниками, талантливыми импровизациями...

Не так ли когда-то начинался «Современник»?

Нет, не так.